

**СДЕЛАНО  
В СССР**



**ЛЮБИМЫЙ  
ДЕТЕКТИВ**

# **ПЕТР И ПЕТР**

**Евгений Рысс**



Сделано в СССР. Любимый детектив

ЕВГЕНИЙ РЫСС

**Петр и Петр**

«ВЕЧЕ»

1970

**Рысс Е. С.**

Петр и Петр / Е. С. Рысс — «ВЕЧЕ», 1970 — (Сделано в СССР.  
Любимый детектив)

ISBN 978-5-4484-7748-5

Роман известного советского писателя и сценариста, признанного мастера детективного жанра Евгения Самойловича Рысса (1908–1973) рассказывает о расследовании страшного уголовного преступления, совершенного в день традиционной встречи воспитанников детского дома. При этом раскрывается сущность деятельности правозащитных органов – следствия, прокуратуры, суда, защиты – и характер их взаимодействия.

ISBN 978-5-4484-7748-5

© Рысс Е. С., 1970

© ВЕЧЕ, 1970

## Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	10
Глава третья	14
Глава четвертая	19
Глава пятая	24
Глава шестая	29
Глава седьмая	33
Глава восьмая	37
Глава девятая	41
Глава десятая	46
Глава одиннадцатая	50
Глава двенадцатая	54
Глава тринадцатая	61
Конец ознакомительного фрагмента.	65

# Евгений Рысс

## Петр и Петр

*Моей жене Людмиле Георгиевне Рысс*

*Текст печатается по изданию:*

*Рысс Е.С. Петр и Петр. М.: Дет. лит., 1992.*

Знак информационной продукции 12+

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

Четыре мальчика, найденные во время войны в прифронтовой полосе, выросли в детском доме. Однажды они дали друг другу слово: как бы ни разбросала их судьба, каждый год 7 сентября, в тот день, когда их привезли в детский дом, они будут собираться вместе.

Кончив школу, все четверо поехали поступать в вузы. Трое поступили, четвертый, Петр, не прошел по конкурсу. Он уехал в другой город и стал работать на заводе.

Каждый год 7 сентября собираются вместе трое. Каждый год Петр сообщает, что на этот раз приехать не сможет.

Наконец, трое друзей решают, что сами поедут к нему праздновать 7 сентября.

О том, что они увидели, приехав к Петру, о страшном преступлении, совершенном в день их приезда, о следствии, о суде над Петром, о судьях, прокурорах и молодом защитнике рассказывается в этой книге.

## **Часть первая**

### **Преступление, следствие, защита**

#### **Глава первая**

#### **Четыре братика**

Был такой разговор или его не было? Во всяком случае, ни я, ни Юра его не помним. Один Сергей говорит, что разговор был. И очень тревожный. И будто бы даже какие-то подозрения у нас возникали. Не знаю. Мы с Юрой этого не помним. Во всяком случае, Петра мы не видели девять лет. Это уж совершенно точно.

И это, между прочим, было прямое нарушение договоренности. Условлено было всем четверым обязательно встречаться один раз в году, где б мы ни оказались, хоть в тысячах километрах друг от друга. Каждый год 7 сентября мы встречаемся – и все! Правда, когда мы условились об этом, нам всего-то было по пятнадцати лет. Приблизительно по пятнадцати. Никто из нас не знает точно своего возраста. Нас, всех четверых, подобрали в прифронтовых разоренных районах солдаты разных воинских частей в сорок втором году. На глаз нам было года по два, по три. Может быть, немного больше или меньше. Наверное, были мы очень истощенные и худые. Фронт, как известно, не лучшее место для малолетних детей. Мы-то сами ничего не помним о том, кто нас подобрал, где и при каких обстоятельствах. Знаем это только по рассказам. Так или иначе, достоверно известно, что попали мы сперва в Дом младенца, хотя были уже, строго говоря, не в младенческом возрасте. Во время войны с такими вещами не считались: где можно ребенка накормить, где есть кому с ним возиться, туда и отдавали его хоть временно, хоть ненадолго.

Конечно, никто из нас не помнит своих родителей. Правда, Юра говорит, что он будто бы помнит. Не думаю. Скорее всего, какая-нибудь нянечка рассказывала ему про маму, вот он и думает, что помнит. Достоверно начинали мы помнить себя лет в пять или даже в шесть. В это время в нашей жизни уже существовал Афанасий Семенович.

Он был директором детского дома, в котором мы выросли. Директор он замечательный. Это все знают. Но для нас он был не только директором. Благодаря ему никто из воспитанников детского дома, а нас как-никак было больше ста человек, не почувствовал по-настоящему, что у него нет родителей. Тогда, в первые годы после войны, много было изломанных человеческих судеб, и как Афанасий Семенович бился, чтобы судьбы эти не легли тенью на нас, подраставших в те годы. Во всяком случае, мы, четверо, многим ему обязаны. Хотя и строгим бывал он ужасно. Иной раз так на кого-нибудь рывкнет, что весь дом затихает. Но зато каждый вечер, как бы он ни устал, как бы ни измотался, обязательно пройдет по спальням и каждому, ну буквально каждому, скажет два-три слова, погладит по голове, одеяло поправит.

Нас он называл «братиками». Мы четверо прибыли в детский дом вместе. Он сразу нас так и назвал. На самом деле мы, конечно, братьями не были, нас и подобрали-то всех в разных местах, при разных обстоятельствах.

Уж не знаю, бывают ли такими дружными настоящие братья, какими были мы. Мы и учились в одном классе, и уроки вместе готовили, и гуляли вместе, и секреты были у нас общие, и планы мы строили сообща – словом, росли удивительно дружно.

В один день получили мы аттестаты и все вместе поехали в С. Афанасий Семенович посоветовал нам поступать в вузы. Он нас почему-то считал способными, хотя в школе мы учились не очень уж хорошо. Как ни странно, но трое из нас действительно прошли по конкурсу. Юра держал в индустриальный институт и попал, Сережа – в университет на биофак,

а я – на журналистский. Только Петьке не повезло. Он тоже держал в индустриальный, но не прошел. Одного очка не хватило. Конечно, мы были очень огорчены. Уговаривали его позаниматься год и держать еще раз, но Петька не захотел. То ли характер у него слабым оказался, то ли обидно было ему, что мы трое прошли, а он один почему-то вдруг не прошел.

Сейчас, конечно, поздно и не к чему в этом разбираться, хотя во всяком экзамене случай играет большую роль, и очень может быть, что просто нам троим повезло, а Петьке не повезло. Но недаром Афанасий Семенович всегда говорил, что надо суметь переупрямить случай.

Впрочем, не нам судить. Если тебе повезло, легко осуждать неудачника. Так или иначе, а тогда мы трое оказались друзьями больше на словах, чем на деле. Ахали, ужасались, сочувствовали. А думал каждый больше о том, что он, мол, уже студент, чем о том, что у Петьки вышла осечка.

В оправдание могу сказать только одно: в то время мы все трое были, по-моему, немного сумасшедшие. Мы и переутомились: это не шутка – готовиться к конкурсу, Мы и переволновались: пройдем или не пройдем? Да, наконец, честно сказать, мы и ошалели от радости, когда оказалось, что прошли. Так или иначе, как мы ни волновались за Петьку, как ни горевали за него, а все-таки у каждого в душе плясал радостный чертик, плясал и пел: «А я-то прошел, я-то прошел!»

Петька, наверное, этих чертиков наших слышал, и от этого ему, наверное, было еще обиднее. Во всяком случае, он нам сказал, будто какой-то парень очень его в Энск зовет. Там, мол, на заводе у этого парня отец работает, и он, мол, Петьку охотно устроит на завод и с общежитием поможет, а временно, пока с общежитием устроится, парень предлагает у него пожить.

Если кому-нибудь рассказать подробно, как мы с ним простились, получится, что нас не в чем упрекнуть. Хоть с деньгами у нас было плохо, все-таки, сложившись, купили мы ему на память замечательную зажигалку. Ее продавал один парень с биологического. Отец этого парня в свое время привез зажигалку с войны. Я таких зажигалок больше за всю жизнь не видел. Там был изображен человек, который направлял на кого-то револьвер. Если зажигалку положить, оказывалось, что лицо человека закрыто черной маской. Возьмешь зажигалку в руки, и опять лицо как лицо, никакой маски нет. Черт его знает, как это было устроено. Наверное, нехитрая штука, но интересно.

Так вот, когда парень с биологического прошел по конкурсу, отец ему и подарил эту зажигалку. Отец жил в другом городе и прислал ее по почте. Подарок был замечательный, но беда в том, что парень к этому времени так прожился, что ему было не до зажигалок с фокусами. Просить у отца денег он не хотел: отец зарабатывал немного. Вот он и решил зажигалку продать. Просил за нее десять рублей. Как мы эти десять рублей наскребли, до сих пор понять не могу. Однако все-таки наскребли. Кое-что пришлось продать из барахла. Двух рублей не хватило. Отдали парню позже.

В общем, эту самую зажигалку мы подарили Петьке на вокзале в торжественной обстановке, произнеся соответствующие речи. Настроение у всех было хорошее; все смеялись, желали друг другу удачи – словом, как будто бы все было в порядке.

Я теперь думаю, что, наверное, мы все трое вели себя по-свински, хотя и говорили все нужные слова, хотя как будто и делали все как настоящие друзья. Все-таки каждый из нас был очень уж занят личными своими делами. Может быть, Петя почувствовал, что мы как бы немного формально проговариваем всё полагающееся, что мы как бы даже торопимся скорее проговорить всё до конца и заняться тем, что нас действительно интересует: новой для каждого из нас студенческой жизнью, новыми друзьями – словом, новой своей судьбой. Знаю, что довольно неприглядно это выглядело. Единственно, что могу сказать: много мы все трое казнили себя за это. Да чего уж казнить, когда этот этап жизни прошел и не вернется.

Так или иначе, Петька уехал в Энск. Потом написал, что поступил на завод и живет в общежитии. Потом написал, что получил комнату в новом доме. 7 сентября написал, что приехать не сможет потому, что отпуск ему дают только в октябре, а нас всех горячо поздравляет.

О 7 сентября должен рассказать особо.

Дело в том, что день рождения каждого из нас был никому не известен. Имена и фамилии тоже были придуманы в Доме младенца, о котором я уже говорил. Имена нам дали обыкновенные. Сергея, Юрия и Петра я уже называл, остается добавить, что меня называли Евгением. Фамилии тоже у нас были обычные: Петька носил фамилию Груздев, Сергей – Ковалев, а Юрий – Андреев. Мне досталась фамилия Быков, которая тоже не хуже других. Чтобы дать нам отчества, записали условными отцами, что ли, тех солдат, которые нас принесли сдавать. Мы с Сережей стали Михайловичи, Петр – Семенович, а Юрий – Сергеевич.

Я все отхожу от дня рождения. День рождения у нас получился так: в детский дом к Афанасию Семеновичу нас всех передали 7 сентября. Вот это и решено было считать нашим днем рождения. В то время мы не очень разбирались в датах и месяцах, да и что такое день рождения, не очень-то понимали. Просто знали, что «нас празднуют». Это нам очень нравилось.

Когда мы уходили из детского дома, был у нас большой разговор с Афанасием Семеновичем. Он тогда и посоветовал нам, где бы мы ни находились, день рождения всегда проводить вместе. Ну, так вот, Петька не смог приехать, но прислал большое письмо. Впрочем, об этом я уже говорил. Мы, трое, очень ушли в наши студенческие дела. События в жизни каждого словно нагоняли одно другое. Во-первых, конечно, занятия. Вуз – это совсем не то что школа. Через несколько лет мы поняли, что и работа – совсем не то что вуз.

Жизнь у каждого из нас складывалась довольно удачно. На третьем курсе Сергей сделал одну работу, о которой было даже сообщение в университетской многотиражке. У Юры в индустриальном тоже дела шли хорошо. Я к окончанию института напечатал в «Уральце» три материала и был приглашен туда на постоянную работу. Начал я бывать и в областном издательстве, и на собраниях областного отделения Союза писателей. На обсуждении даже похвалили один мой рассказ. В общем, все шло нормально. И каждый год 7 сентября мы трое собирались. И каждый год 7 сентября получали мы от Петьки большое письмо. Сам он все-таки ни разу не приехал. Не везло ему с приездами. То не давали именно в сентябре отпуск, то отпуск давали, но он не мог им воспользоваться, потому что предстояли выборы в райсовет, а он был выдвинут в депутаты. Во всяком случае, писал он, на заводе он не последний человек: портрет его висит на Доске почета и он член завкома. А потом он женился на работнице того же завода, где сам работал, получил комнату и приехать не мог потому, что свадьбу праздновал. Потом, наконец, он ждал ребенка и не мог оставить жену. По письмам выходило, что жизнь у Петьки складывается хорошо. Но 7 сентября не собирались мы каждый год все четверо. Собирались только троим. Собственно говоря, потом уже четвером, потому что Юра тоже женился. Жена его была врачом, и он познакомился с ней в заводской поликлинике. Следует сказать, что мы в это время уже окончили вузы. Юра был инженером на Тяжмаше, Сергей остался при кафедре в университете и понемногу сдавал кандидатский минимум, я был литсотрудником «Уральца», и в плане областного издательства на будущий год стояла моя небольшая книжка, листов на восемь. Это, конечно, не очень много, но и Москва не один день строилась.

На наших сборищах 7 сентября о Петьке всегда говорили. Посылали, конечно, ему телеграмму, и если, первый тост провозглашали за дружбу, то второй обязательно за «братика» Петю, тем более что его письма обычно давали повод и для тоста. Один год провозглашали тост за Петьку – депутата райсовета, другой – за Петьку, отца семейства, третий – еще за что-нибудь. Знаменательных событий в его жизни, судя по письмам, вполне хватало.

И все-таки условие о том, чтобы встречать каждый год 7 сентября вместе, – условие, торжественно заключенное в нашей юности при участии Афанасия Семеновича, было нарушено. В шестьдесят шестом году, когда произошли те события, о которых я расскажу дальше, нам



было приблизительно по 27 лет. Это можно считать зрелым возрастом. Сколько замечательных планов задумываются мальчишками – планов, которые кажутся тверже стали и которые не выполняются взрослыми людьми или выполняются неполностью. Это происходит не потому, что жизнь обманывает. Реальность оказывается часто не хуже, чем мечталось в юности, но просто другой, более трудной и сложной.

И когда во время традиционных наших встреч мы вспоминали о Пете, то всегда утешали друг друга тем, что, хотя формально наш юношеский договор и не выполнен потому, что Петька никак не может выбраться и приехать, все-таки все мы остались друзьями. А смысл договора был именно в том, что мы будем, даже если жизнь нас и раскидает, дружить. И в этом главном смысле, утешали мы сами себя, все в порядке. Хотя у Петьки и была неудача с институтом, но зато теперь он человек, которого ценят и уважают, – это ясно из его писем. И он по-прежнему наш друг, хоть мы и не виделись уже девять лет.

А то, что был какой-то разговор, и даже будто бы очень тревожный, – это только один Сергей помнит. Он говорит, что у него даже возникали какие-то подозрения.

Не знаю, может быть, у Сергея и возникали. С нами он ими, во всяком случае, не делился. Если бы делился, мы с Юрой, конечно бы, это запомнили.

## Глава вторая

### Едем, едем!

В 1966 году 7 сентября приходилось на среду. Можно было перенести празднование на воскресенье, но насчет этого у нас были очень строгие правила. Седьмого – значит, седьмого. Впрочем, уже с воскресенья мы начали понемногу всё закупать. Купили две бутылки шампанского. Юрка притащил какое-то вино, которое, по его словам, виноделы обычно выпивают сами и только немножко посылают в Министерство иностранных дел, чтобы угощать иностранных послов. Может, оно и так. Мне, как читатель увидит, так и не удалось его попробовать. Но позже я почему-то обнаружил, что это вино продается во всех больших гастрономах. Я уж Юрке об этом не говорю. Он ужасно расстроится. Очень он самолюбивый.

Переписка с Петькой перед 7 сентября была очень оживленной. Мы ему заранее написали, что ни за что не простим, если он опять не приедет. Он ответил, что приедет непременно. Сколько же можно! Без малого девять лет не видались! Есть о чем поговорить! Словом, будет обязательно.

Мы, конечно, очень обрадовались. Решили устроить пир на весь мир. Петька сообщал, что у него еще за май осталось два дня отгульных, потому что он в Майские дни работал. И в цеху он уже договорился. Так что ничего случиться не может. Я поговорил у себя в редакции; там не возражали, если я за свой счет возьму недельку или даже две. У меня в загоне лежало два материала, так что все равно новый давать пока не имело смысла. Я рассудил так: походим с Петькой по городу, Юрка с Сергеем днем заняты, а мы с ним спокойненько поговорим, всё обсудим. Потом, может быть, я с ним в Энск поеду, познакомлюсь с его женой, посмотрю ребеночка. Парню как-никак уже второй год. Я посоветовался с Ниной, Юриной женой, и та прочитала мне целую лекцию, что в таком раннем возрасте детям можно дарить только стерильные игрушки из пластмассы. Нина чудесная женщина, и Юре с ней, конечно, очень повезло, но играть детям стерильными игрушками – это, по-моему, скукота. Так что я, по секрету от нее, купил двух плюшевых обезьян и одного медведя. Это был прямо всем медведям медведь. Стерильности в нем не было никакой, но морда была веселая и добродушная. Купил я их в понедельник, когда хозяйственные хлопоты были в полном разгаре. Нинка позвонила мне из поликлиники и радостно сообщила, что один больной раздобыл ей два килограмма свежей кеты и килограмм соленой. Я ей сообщил, что купил необычайно стерильные игрушки, но показать ей их не смогу, потому что для большей стерильности их упаковали в микробонепроницаемую пластмассу.

– В какую? – закричала Нинка.

Я удивился:

– Как, ты не знаешь? Это изобрел сын Флеминга. Пенициллин помнишь? Так вот его родной сын. Он очень разносторонний человек, специалист по пластмассам и в то же время микробиолог. У нас в «Уральце» был целый «подвал» о нем. Неужели ты не читала? Мы получаем много писем. Между прочим, инвалидная артель «Геркулес» налаживает производство. Представь себе, что ты решила выйти замуж за хорошего человека, но подозреваешь, что жених болен туберкулезом. Ты наносишь на губы вместо губной помады тоненький слой микробонепроницаемой пластмассы и можешь сколько хочешь целоваться с подозрительным женихом.

Тут она сообразила, что я ее разыгрываю, выругала меня дураком и повесила трубку. А через пять минут позвонил Юра.

– Женька, – сказал он мрачно, – от Пети пришло письмо: он не может приехать. Я что-то ничего не понял, какая-то травма у него, будто бы производственная. Ему придется недельку полежать, хотя травма и несерьезная. В общем, давай дозвонись Сергею, мне тут говорить не очень удобно, и приходите ко мне часам к пяти. Пообедаем и всё обсудим.

В пять часов мы собрались у Юры. Надо честно сказать, расстроены мы были ужасно. В самом деле, что же это такое! Девять лет не можем повидать друга!

Юра прочел вслух письмо. Читал он отчетливо, неторопливо, вдумываясь в каждое слово. По совести говоря, вдумываться особенно не во что было. Какой-то на производстве произошел несчастный случай, Петьке повредило ногу. Ему придется недели две полежать. Лежит он дома, так что ему не скучно. Кстати, сообщает свой новый адрес. Они с Тоней обменяли комнату. Адрес такой: Яма, Трехрядная улица, дом 6, первый этаж, квартира 1. Яма – это новый микрорайон. Название пока осталось старое, но скоро район переименуют. Комната у них теперь больше и лучше. В их бывшую квартиру въехали родители прежнего соседа. Те поменялись, потому что хотят жить вместе с сыном.

«Обидно, но делать нечего. Не забывайте. Пишите. Ваш друг Петр Груздев».

Мы помолчали. Потом заговорил Сергей. Он раскипятился и произнес против Петьки целую обвинительную речь: мол-де, так не поступают друзья, можно год, два, даже три, а девять – это уже неприлично! Словом, Цицерон Катилину так не громил, как Сергей Петьку. На защиту друга кинулся Юрий. Он кричал, что дружба имеет свои обязанности и что если даже Петька – свинья и на нас за что-то обижен, то и в этом случае мы обязаны быть умнее его хотя бы потому, что нас трое и мы можем посоветоваться друг с другом. А Петька один, и ему советоваться не с кем.

– Один? – заорал Сергей. – А жена? Настоящий друг, как он нам писал.

– А сын и наследник? – негромко подсказал я.

Сергей так увлекся пафосом обвинения, что повторил:

– Да, а сын и наследник? – позабыв, что наследнику идет пока только второй год.

Тут мы все рассмеялись, и разговор принял более мирный характер. Нина убрала осколки разбитой тарелки, – я забыл сказать, что Сергей в обличительном пафосе расколотил тарелку и даже не извинился перед хозяйкой. Итак, Нина поставила перед Сергеем другую тарелку, еще не расколотенную, и сказала:

– Эх, братики, братики, доживете вы с моей медицинской помощью до ста двадцати лет и все равно останетесь мальчишками. В науке это называется «инфантилизм» и считается болезнью неизлечимой.

Произнеся эту сентенцию, Нина пошла на кухню за вторым.

– Ну ладно, – сказал Сергей, – допустим, я перехлестнул, но то, что мы девять лет не виделись, – это факт?

Мы с Юркой угрюмо молчали.

– Допустим, – сказал я, – мы тогда вели себя как скоты, – Мне не надо было объяснять, какое время я имею в виду. Много раз уже было говорено, что, увлекшись собственными успехами, мы тогда, девять лет назад, не поняли, как худо было Петьке, и не были ему настоящими друзьями. – Ладно, мы виноваты. Но ведь обида-то у Петьки прошла, это по письмам видно. Не может седьмого сентября приехать – приехал бы в другое время. Неужели за девять лет нельзя было выкроить несколько дней? Ну хорошо, скажем, он на нас когда-то обиделся. Так ведь это же не чужой человек, это же наш Петька. Зарабатывает он, наверное, хорошо, лекальщик – высокая квалификация. Многие лекальщики «Волги» себе понакупили. Ну, а если даже нет денег? Да ведь он слово скажи – что ж, мы денег ему не достанем? Не верю я в то, что он за девять лет не мог выбраться. Значит, не хотел. Значит, видно, мы идиоты и не поняли до сих пор, как глубоко мы его обидели...

В это время Нина внесла кастрюлю с тушеным мясом и поставила на стол. Она слышала мою последнюю фразу.

– Правильно, Женя, – сказала она и начала раскладывать мясо по тарелкам.

Мы стали молча есть. Черт его в самом деле разберет! Неужели мы так обидели Петьку, что он этого девять лет не может забыть? В конце концов, теперь уже мы можем обижаться.

– Я считаю, что надо написать большое, обстоятельное письмо, – сказал Юра, – и Афанасию Семеновичу написать, пусть он ему тоже напишет. Если мы в чем виноваты, просим простить. Не расходиться же из-за этого. Вся юность, все детство вместе, и вдруг всё насмарку. Так тоже не делается.

– Письма прочитываются и забываются, – тихо сказала Нина.

Мы не поняли, к чему она это говорит. Подождали, но она молчала.

– Знаешь, Сергей, – сказал я, чтобы перебить разговор, – пришло письмо в редакцию. Пишут, что последняя книга вашего Алексеева мало того что списана с трех, не помню чьих, книг, но он и списать-то толком не смог. Те, у кого он списывал, спорят между собой, а он все их выводы вместе свалил.

Я знал, что на эту тему Сергея всегда можно было завести.

– Жулик он, – буркнул Сергей. – Иной раз даже обидно, что угрозыск наукой не занимается.

– Между прочим, – сказала Нина, разливая чай, – завтра вечером поезд идет в Энск. В середине дня послезавтра были бы на месте.

– Ты что же, хочешь, чтобы мы к нему поехали? – удивленно спросил Юра. – Трое к одному?

– А что, обидно?

Нина передала нам чашки, поставила чашку себе и села.

Мы все четверо стали пить. Вдруг Юра поднял чашку и, наверное, собирался с силой ударить ею об стол. Нина спасла чашку в последнюю минуту и отставила в сторону. Юра, по моему, этого даже не заметил. Он стукнул об стол кулаком и расхохотался.

– Ребята, – сказал он, – а ведь Нина-то молодец, а? Поехали, в самом деле, чего там. Как ты, Женька?

– Я взял отпуск, – сдержанно ответил я.

– А ты, Сергей?

– Я могу сейчас позвонить шефу. В крайнем случае заеду к нему утром. Он будет орать, но отпустит.

– Я поговорю завтра на заводе, – сказал Юра. – Договориться-то я смогу, но вот успею ли за вещами...

– Что за вещи? – удивилась Нина. – Не можешь на два-три дня с портфелем поехать? А в чемодан я вам уложу и вино, и кету, и все закуски. А то ведь у него может ничего и не быть, а тут вы приедете, как три Деда Мороза.

– Здорово, здорово! – Юрка хлопал себя по коленям, даже раскачивался от восторга. – А? Здорово мы придумали!

Я уж много раз замечал: Нина что-нибудь вложит в Юрину голову, а он и радуется, что ловко придумал.

Он все больше и больше приходил в восторг. Он хлопал по плечам меня и Сергея, обращался к Нине за поддержкой, как будто мы, три мужика, здорово выдумали, а ее женское дело – похвалить нас и порадоваться.

Сережка позвонил своему шефу домой, и тот, правда, поворчав, исчезнуть на три дня позволил. Потом звонили в справочное, и все складывалось удивительно хорошо. Оказалось, что, выехав из Энска в воскресенье, мы в понедельник успеваем к началу работы. Все мы развеселились ужасно, кто-то вспомнил, что Петька живет на первом этаже, и мы даже придумали совершенно идиотскую шутку: заглянуть просто в окно и удивить хозяев. Мы радовались этой идее, пока Нина нам не объяснила, что получится неудобно, если, скажем, Петина жена испугается и умрет от разрыва сердца, а мы ввалимся, хохоча, с закусками и напитками.

Немного успокоившись, мы решили, что получается в самом деле все удивительно хорошо. Если были какие недоразумения, мы их тут же и разъясним прямо с глаза на глаз.

Этот дурацкий девятилетний перерыв канет в прошлое. Снова будем дружить, как дружили всю жизнь. Юрка стал фантазировать, что мы заберем Петра к нам в С., что Петр обменяет комнату, заочно кончит институт и защитит диссертацию.

Словом, к тому времени, как Нина нас с Сергеем выгнала, Академия наук подумывала, что без Петра науке трудно и надо его поскорее выбирать в академики.

Мы с Сергеем долго ходили по улицам: сперва я его проводил, потом он меня, потом мы наконец расстались и заснули оба в прекраснейшем настроении.

И на следующий день все получалось легко и быстро. Отпустили Юру сразу же – оказалось, что у него какая-то переработка была. Деньги были у всех троих: получка была недавно. Даже такси по вызову пришло необычайно быстро. Такси, собственно, понадобилось для чемодана с едой и закусками: у нас с Сергеем были просто портфели. Положив вещи в купе, мы ходили по перрону страшно возбужденные и веселые и обсуждали, как мы приедем и как мы войдем в квартиру, и что мы скажем, и как удивится Петька.

Нина кончала в поликлинике поздно, но все-таки успела на вокзал. Она принесла совершенно стерилизованные игрушки для Петькиного сына. По-моему, эти игрушки делаются специально для врачей, потому что нормального ребенка вряд ли они смогут развлечь. У них хоть одно оказалось достоинство – они влезли в Сережин портфель.

Послушав наши фантастические планы о встрече с Петром, Нина вдруг нахмурилась и сказала:

– Слушайте, мальчики, может, лучше все-таки дать мне сейчас телеграмму Петру? А то ведь действительно вы людей напугать можете.

Мы стали кричать, уже стоя на площадке, чтобы ни в коем случае телеграмму она не давала, что она все испортит, и Юра поклялся даже ее убить, если она нас предаст.

Потом поезд тронулся, мы вошли в вагон и продолжали выдумывать всякие смешные положения, которые могут произойти от нашего неожиданного приезда. А потом Сережа спросил:

– Юра, а Нина не может в самом деле дать телеграмму?

– Да ну, что ты, – сказал Юра, – с ума сошел? Она же пошутила.

Больше мы об этом не говорили. Но Нина все-таки прямо с вокзала послала Петьке подробную телеграмму о том, что мы едем к нему праздновать нашу годовщину и чтобы он нас ждал.

Она объясняла это потом так: мы, мол, были такие самодовольные, что ей захотелось нас разыграть. Она представляла себе, что мы приедем, рассчитывая застать Петьку врасплох, а Петька встретит нас за накрытым столом и скажет: «Садитесь, ребята, я вас давно уже жду».

## Глава третья

### Дурные приметы

Погода с утра была очень хорошая, но, пока мы встали и умылись, пошел дождь. В поезде не поймешь, ветер нанес тучи или плохая погода была здесь все время и просто поезд въехал в дождливую полосу. Народу в вагоне было немного, и в нашем купе мы оказались одни. Мы выпили чаю с бутербродами и стали придумывать, как войдем, да что скажем, и как Петька удивится, и как мы с ним расцелуемся, а потом начнем его ругать, а потом будем смотреть на сына и показывать сыну игрушки. Юра особенно напирал на то, что нельзя мальчику сразу давать много игрушек, потому что тогда он перестанет удивляться и радоваться. А это нехорошо.

– Надо по одной, – объяснял Юра. – Сначала, скажем, медведя, а об остальных – ни гугу. Потом, когда он с медведем наиграется, можно обезьян показать. А что-нибудь обязательно надо оставить напоследок и дать ему только тогда, когда мы с ним будем прощаться.

– Напоследок надо дать ему стерильные, – сказал я. – Он разберется, когда мы уже уедем и некого будет бить.

– Нет, – сказал Юра, – ты напрасно смеешься. Все-таки Нина права: гигиену нужно соблюдать.

Юрка удивительный человек: он и умница и специалист хороший, но вот с чувством юмора у него слабовато. Я как-то долго смотрел на него, когда он читал «Трое в одной лодке, не считая собаки». Вам покажется невероятным, но, честное слово, это так: он читал внимательно, вдумчиво, с большим интересом, но ни разу не улыбнулся. Лицо у него было такое, будто Джером К. Джером написал серьезный труд в помощь начинающим туристам.

Часа через два разговоры затихли. Все уже было обсуждено, все варианты разобраны до конца, и мне пришло в голову, что, когда продумываешь слишком подробно будущее, случается непременно что-нибудь такое, чего совсем и не ждал.

Мы стали смотреть в окно. Дождь продолжал идти, ровный, морозящий дождь, и тучи были сизые, мрачные, безнадежно гладкие. Нигде не было ни одного просвета, ни одного голубого пятна, как будто просто здесь небо было не голубое, а темного, сизого цвета.

Мы ехали на северо-запад, и природа уже изменилась – стала суровее и бедней. Леса проплывали за окном какие-то жидкие, и лиственных пород почти не попадалось – все хвоя да хвоя. Гор не было, только холмы, и все чаще и чаще на этих холмах попадались гранитные обнажения. Мокрый от дождя гранит выглядел мрачно. Иногда среди ровного поля торчала скала. Будто шел богатырь совершать подвиги, освобождать прекрасных девушек, заточенных в гранитных замках, а злой колдун проговорил какие-то заклинания и превратил богатыря в нелепую, неизвестно для чего торчащую скалу. Здесь были бедные земли. Их пахали, на них выращивали урожай, но главные богатства этих мест скрывались под землей. Природа будто нарочно прикинулась бесплодной, чтобы обмануть человека и скрыть от него неисчерпаемые сокровища недр.

Часа через четыре по вагону прошел человек в белом халате, громко крича, что у него есть бутерброды с колбасой и сыром и сдобные булочки. Сергей оживился и вопросительно посмотрел на нас.

– Давайте, ребята, по бутерброду, – сказал он.

– Нет-нет, – решительно запротестовал Юра, – вы помните, что нам сегодня предстоит пир. Что же это такое – приедем сытые! Это Петьке даже обидно будет. Приехали в гости – и не едят. Ничего, поголодаешь. Ты и так что-то стал полнеть. Мы даже с Ниной как-то говорили об этом.

Сергей, кажется, собирался спорить, но промолчал и только тяжело вздохнул. Он действительно любил поесть, но то, что он толстел, – это неправда. Он много работал, и часто обед у него совмещался с ужином. Впрочем, поговорить о еде он очень любил.

Мы опять долго молчали и смотрели в окно. Потом по вагону прошел другой человек в белом халате; он тоже кричал и нес на подносе стаканы с горячим какао. Потом с ужасными криками пронесли горячий борщ. При слове «борщ» Сергея даже передернуло. Потом прошел какой-то герольд в белом халате, возвестивший на весь вагон, что в вагоне-ресторане горячие обеды. Сергей порывался что-то сказать, но Юра смотрел на него таким суровым, неодобряющим взглядом, что он так ни слова и не сказал.

– Ничего страшного, ребята, – сказал Юра, почувствовав, что мы готовы к бунту. – Приедем и, пока Петькина жена будет варить кету, займемся закусками. Сами накроем на стол. В восемь рук это быстро. Хозяину приятно, когда гости голодные. А то что это такое – Петька с женой будут есть, а мы смотреть на них?

Мы смирились и снова долго молчали. Вагон покачивался и постукивал на стыках рельсов, и мимо проносились бедные земли, холмы, поросшие тощим лесом, сиротливая, мокрая под дождем природа. Каждый час или полтора начинали мелькать перед нами заводские трубы и корпуса. Потом перед окном проносился город. Потом появлялись станция, и мокрый перрон, и электрические часы, и все это постепенно плыло и останавливалось перед окном. Проходили люди, живущие в этом городе, который сейчас уплывет назад и который, может быть, ты никогда больше не увидишь. Здесь тоже работает завод, и строятся новые цех, и обсуждаются вопросы новой экономической системы, и выходит газета, и твой коллега написал статью, о которой в городе много говорят, и люди получают квартиры, покупают мебель, радуются, что окна во двор и не слышны машины, или огорчаются, что дом построен по старому проекту и одна комната проходная.

Я думал об этом, а потом задремал. Юра, кажется, задремал тоже. А Сергей не спал. Он разбудил нас и сказал, что мы подъезжаем.

Дождь продолжал идти, мелкий осенний дождь. Мы надели плащи. Юрка вытащил из кармана блокнот и еще раз перечел Петькин адрес.

– «Яма, – отчетливо проговорил он, чтобы мы все запомнили, – Трехрядная улица, дом шесть, квартира один».

Мы взяли вещи, три портфеля и чемодан, и вышли на площадку. Проводница уже стояла у раскрытой двери.

Город, в котором жил Петька, был не мал и не велик. Он существовал с каких-то очень далеких времен. Сюда когда-то ссылали за политику. Знаменитый писатель написал в свое время нашумевшие очерки о страшных условиях труда и жизни крестьян и ремесленников в городе и губернии. В начале нашего века тут были крестьянские волнения. В это же время здесь построили, по тогдашним понятиям, изрядный завод. В первую пятилетку построили большой современный завод. Старый заводик тоже был превращен в новый. И старый город почти целиком был снесен. И выстроен новый город. Я об этом только читал. Здесь я не был ни разу. Наш «Уралец» – областная газета, и езжу я в командировки только в пределах нашей области.

И вот подплыл большой каменный вокзал, видно, недавно построенный вместо старого, деревянного, который не снесли, а только сняли с него вывеску. Там теперь были какие-то служебные помещения. И два этих вокзала, старый и новый, такие не похожие друг на друга, рассказывали про историю города кратким и выразительным языком архитектуры.

Мы вышли на перрон – кроме нас, никто, кажется, не сошел на этой станции – и пошли туда, куда указывала стрелка с надписью: «Выход в город».

И тут нам перебежала дорогу черная кошка. Мы все трое сделали вид, что не заметили ее. На самом деле я-то ее заметил прекрасно и увидел, как вздрогнул Юра, а Сергей даже хотел чертыхнуться, но удержался и равнодушно стал смотреть в сторону.

На привокзальной площади стояло одно такси. Мы бросились к нему. Юрка открыл дверь. Шофер, увидя чемодан, вышел из машины, чтобы открыть багажник.

– Вам куда? – спросил он.

– Яма, – сказал торжественно Сергей, – Трехрядная улица, дом шесть.

Шофер засвистел протяжно, с какими-то выразительными модуляциями.

– Э-э, – сказал он, кончив наконец свистеть, – нет, товарищи, туда не везу.

– Почему?

– Туда и в хороший-то день не проедешь, а уж сейчас там утонуть можно.

– Что, строится район? – спросил Сергей.

– И строится, и вообще... – неопределенно сказал шофер.

Тогда вмешался я. За время моих командировок мне приходилось уговаривать шоферов и на более сложные дела. Я, улыбаясь – улыбаться в этих случаях очень важно, – стал его убеждать, что, наверное, не так уж страшен черт и машина у него в прекрасном состоянии, видно, что за ней хорошо ухаживают. Я даже рассказал, что мы приехали к нашему другу на один день, а чемодан тяжелый и нам не донести. А если и донесем, так нам уже будет не до праздника. Словом, наговорил и наулыбался столько, что шофер стал сомневаться.

Он был все-таки славный парень, этот шофер, и, посомневавшись с минуту, осмотрев и нас и чемодан, молча открыл багажник.

– Ладно, – сказал он, – до дома не довезу, а до Ямы довезу. Там вам останется немного пройти.

Мы погрузились в машину, и как раз в эту минуту, когда машина тронулась, прямо под самыми колесами дорогу перебежала вторая черная кошка. Это была худющая, злющая кошка, и она мало того что перебежала дорогу, еще и сверкнула на нас белесыми злыми глазами.

– Черт! – выругался наконец Сергей.

На этот раз бессмысленно было скрывать друг от друга: мы все трое великолепно ее заметили. Хотя мы были, казалось бы, люди совершенно не суеверные, все-таки у нас защемило сердце.

Машина миновала квартала два старых деревянных домиков и выехала на широкий современный проспект.

Рядом с шофером сидел Сергей. Он и начал с ним разговор.

– Скажите, – спросил он, – неужели в новом районе нельзя было изменить название? Ну что это за название – Яма! Да и Трехрядная! На трехрядной гармонике сейчас никто уже и не играет.

Шофер пробурчал что-то невнятное. Мы свернули с проспекта и ехали теперь по улице, состоящей из совершенно одинаковых четырехэтажных домов. Километра два, наверное, мелькали мимо нас эти дома, а потом мы снова свернули и увидели огромный стеклянный магазин и четыре двенадцатиэтажных корпуса из сборного железобетона. Дальше шли дома, тоже четырехэтажные, но облицованные керамическим кирпичом. Все это, видно, было построено в самые последние годы. Потом по обеим сторонам замелькали недостроенные дома. Краны стояли возле каждого из них, точно долговязые журавли, и длинными клювами поднимали панели или корыта с цементом, а по обеим сторонам асфальтированной дороги была грязь, желтая, непроходимая грязь, и огромные лужи, рябые от дождика, который все еще продолжал идти.

И вдруг машина остановилась.

– Вот, – сказал шофер, – ваша Яма. Дальше не проехать. Да тут недалеко. Вы быстро дойдете.

Мы вылезли из машины и огляделись.



Да, Яма называлась Ямою не случайно. Здесь земля круто уходила вниз. От шоссе шла в эту самую Яму очень разбитая, ничем не мощенная дорога, по которой, наверное, могли проехать только мощные грузовики. Ни одного нового, ни одного каменного дома не было в этой яме. Там нельзя было разобрать даже улиц. Там теснились маленькие деревянные домики с полусгнившими крышами из темной щепы, окруженные крошечными садиками. Там в разные стороны клонились заборы, тоже гнилые и темные от сырости. Людей там не было видно. То ли они прятались по домам, то ли их уже переселили в те новые дома, мимо которых мы только что проезжали, чтобы освободить площадку для новых кварталов наступающего сверху города.

– Это что же, старый район? – растерянно спросил Юра.

Шофер был, видно, патриотом родного города. Открывая багажник, он стыдливо пробормотал, что это, мол, так, старье, и что их, мол, всех скоро снесут, и что тут уже много людей переселились и остались самые пустяки.

Он вытащил чемодан и передал его Юре. Сергей рассчитался. Шофер, не глядя, сунул рубль в карман и торопливо сел на свое место. Он стеснялся за эту Яму, как будто его, шофера, уличили в чем-то не очень, конечно, преступном, но все-таки нехорошем.

Нам тоже было почему-то неловко. Шофер ведь не знал, что мы представляли себе новый квартал, пусть хоть из одинаковых четырехэтажных домов, веселый двор с играющими детьми, Петю, приходящего с работы походкой усталого, но довольного жизнью человека... Конечно, могло это быть и здесь, в этой Яме, да когда-то, наверное, и было. Жили здесь люди десятками лет, и трудами их славился на всю Россию завод, но как-то сейчас, в 1966 году, не вязалась эта самая Яма со счастливой жизнью, с уважаемым и почтенным трудом.

Шофер развернул машину и уехал, даже не взглянув на нас. Мы стали, скользя, спускаться по глинистой дороге. Я ждал, что откуда-нибудь выскочит нам под ноги третья черная кошка. Казалось бы, для голодных и злых черных кошек тут самое подходящее место. Но нет. Здесь кошек не было. За пыльными, давно не мытыми окнами не было видно даже человеческих лиц. Да и окна были все наглухо закрыты. А ведь здесь лето короткое, и, пока тепло, люди, наверное, стараются почаще открывать окна. Мы спустились и пошли между двумя рядами деревянных домиков, покосившихся, давно не отремонтированных и не крашенных. Зачем же красить и ремонтировать, если все это не сегодня завтра снесут и всех жителей переселят в новые районы, в новые дома?

Яма доживала свой век. Это чувствовалось по особой, безжизненной тишине. Какое-то мертвое царство. Здесь люди могли доживать, дотягивать, но жить люди здесь не могли.

– Что он писал о своем доме? – спросил Юра. – Кажется, он писал, что живет в новом доме?

Мы с Сергеем молчали. Ни к чему было выяснять, что он писал и почему он писал. Всё мы должны были узнать сейчас совершенно точно.

Главное, не у кого было спросить, где Трехрядная улица. Тут вообще почти не было дощечек или фонарей с названиями улиц, с номерами домов. Один фонарь все-таки нам попался: он был старый и надпись на нем почти стерлась, но по оставшимся буквам можно было понять, что это, во всяком случае, не Трехрядная улица. Что-то там было написано в конце, как будто «Святская» или «Свитская», а начало совсем стерлось.

Ни одного человека на улице! Мы шли, растерянно поглядывая по сторонам, скользя по мокрой грязи. Мы молчали. Очень уж не хотелось разговаривать.

И вдруг из какого-то переулка, который и переулком-то трудно назвать, вышла навстречу нам женщина в темном платке на голове, несущая переброшенное через плечо коромысло с двумя пустыми ведрами.

«Третья плохая примета», – подумал я.

– Скажите, – спросил женщину Сергей (по короткой паузе понял я, что и он заметил эту плохую примету), – где тут Трехрядная улица, дом номер шесть?

Женщина остановилась и внимательно осмотрела каждого из нас с ног до головы. Видно, ее очень удивило наше появление.

– А вам кого нужно? – спросила она.

– Петра Груздева, – сказал Сергей, отчетливо произнося имя и фамилию.

– Петьку? – спросила женщина. – Так он у Анохиных на квартире стоит. Вон третий дом. Видите, лавочка у калитки?

– Спасибо, – сказал Сергей, и мы зашагали к лавочке.

Я шел и думал, что вот мы, три совершенно современных, несуетливых человека, стали вдруг замечать дурные приметы. Значит, мы ждали их. Значит, от чего-то было тревожно у нас на душе. Значит, все время мы знали: что-то неблагополучно. Знали и скрывали друг от друга. Не только друг от друга, но даже и от самих себя.

Мы открыли калитку возле полусгнившей деревянной лавочки, поднялись на крыльцо и, не найдя звонка, постучали в дверь к нашему другу Петьке.

## Глава четвертая

### Старик и старуха. Письмо

Дверь нам открыла злющая старуха. То, что она злющая, видно было сразу. Такие у нее были злые глаза, такая была вся повадка, что сразу угадывались две мысли, руководившие ею. Первая мысль: «В дом не впуссу». Вторая мысль: «Болтать с вами не буду».

– Нам Петра Семеновича, – сказал Юра.

– Дома нет, – резко отрубила старуха и стала было закрывать дверь, но Юра просунул ногу и твердо упер ее в пол так, что не было никаких сомнений: дверь не закрыть.

– То есть как это «нет дома»? – Он нахмурился, и вид у него был самый решительный. Хоть юмора у него, как я уже говорил, маловато, но зато если он решит что-нибудь, так поперек не становись – своего добьется.

– А его жена? – спросил Сергей.

Старуха улыбнулась. Это всегда получается нехорошо, когда улыбаются злые люди. В слове «улыбка» есть что-то располагающее, радующее. Наверное, надо бы для улыбок злых людей придумать какое-нибудь другое слово. Что-нибудь с буквами «З» и «Я». Буквами, звучащими в словах: «злыдня», «змея», «язва». Мы привыкли, что старухи обыкновенно худые, но это была толстая старуха. Лицо у нее было как у проворовавшегося завмага. Странно выглядели на этом толстом лице морщины. И хоть голова у нее и была покрыта, все же, судя по тому, какое жалкое количество волос выбивалось из-под черного шерстяного платка, следовало предположить, что она ко всему еще и лысая или почти лысая. Вообще, глядя на нее, хотелось сказать: Бог шельму метит.

Итак, старуха улыбнулась.

– Жена? – сказала она. – Откуда у него жена? Нет у него никакой жены.

Юра растерялся, и старуха немедленно этим воспользовалась. Она энергично двинула коленом, выперла Юрину ногу и захлопнула дверь. За дверью загремели засовы.

Мы стояли на крыльце совершенно ошеломленные.

– Надо врываться в дом, – деловито сказал Юра.

Не надо думать, что он шутил. Юрка у нас такой: надо будет – дом штурмом возьмет. Стоит ему поверить, что это действительно необходимо – и уж тогда только держись.

Я обернулся, решив, что лучше все-таки посоветоваться с Сережей. Он стоял позади всех, на нижней ступеньке – на крыльце ему не хватило места. И вдруг я увидел, что Сергей смотрит в сторону, строит какие-то непонятные гримасы и загадочно жестикулирует.

Все было так странно в этой удивительной Яме, что я несколько не удивился. Тут всякое могло произойти. Если бы были на свете злые сказки, все стало бы ясно. Мы знали бы, что попали в царство этих сказок, что здесь происходят только страшные события, колдуны здесь живут только злые и ни одна сказка не кончается благополучно. Я подумал, что старуха похожа на Бабу Ягу. Она была худая, потому, вероятно, что мальчик, которого она заперла в клетку и откармливала, сумел убежать. Этой Бабе Яге повезло больше. Она мальчика как следует откормила, съела и нагуляла жир.

Я проследил, к кому обращены странные жесты и гримасы Сергея. В них был определенный смысл. На беззвучном языке велась какая-то загадочная беседа. Свои бессловесные реплики Сергей обращал к окну дома, в котором почему-то не было Петьки и в котором жила эта ведьма. Окно было грязное, давно не мытое и, наверное, никогда не отворялось. Во всяком случае, несмотря на сентябрь, между рамами лежала горбом пыльная белая бумага и на ней стояли очень грязные стаканчики с солью. Сквозь мутное стекло я разглядел чье-то лицо, старческое и бородатое. Оно тоже гримасничало в ответ на Сережины гримасы, и старческие руки проделывали в ответ на Сережины жесты какие-то свои выразительные движения. Я не

понял, что означал этот колдовской язык, и заметил только, что руками старик все время махал в определенную сторону, туда, откуда мы пришли. Сергей, очевидно, понимал в этом удивительном языке больше меня.

– Пойдемте, ребята, – негромко сказал он, – делать нечего.

– Как это – нечего! – возмутился Юра. – Нас к Петьке не пускают! Видал? Надо за милицией идти. Может, Петьку убили. Тут место такое, что все возможно. И старуха, по-моему, подозрительная.

– Юра, – сказал Сергей спокойно, – пойдем, я тебе потом объясню.

Есть у Сергея особенный тон, совершенно спокойный. И все же, когда он говорит этим тоном, с ним не только невозможно, но даже и не хочется спорить. Меня не надо было убеждать: я понимал, что Сергей получил какую-то информацию, которой хочет с нами поделиться. Как-то странно было даже подумать на этой старой, грязной, убогой, молчаливо ожидающей сноса и преображения улице о вполне современном слове «информация». Юрка тоже понял, что Сергей что-то разведal. Не споря, поднял он чемодан, и мы зашагали обратно, скользя по грязи.

Когда мы дошли до угла, Сергей, шедший впереди, уверенно свернул в переулок. Этот переулок был также безлюден, и в доме, возле которого мы остановились, окна даже были заколочены досками. Отсюда, наверное, жильцов уже переселили.

Рядом с калиткой этого дома тоже стояла прогнившая деревянная лавочка. Сергей указал на нее Юре и сказал:

– Поставь чемодан.

Мы составили на лавочку и свои портфели. Они были довольно тяжелые.

Юра молча смотрел на Сергея. Обстоятельства требовали разъяснения.

– Там старик у нее, – тихо сказал Сергей, – он мне какие-то знаки делал. Думаю, что я правильно понял. Он хотел, чтобы мы зашли за угол и подождали. Он хочет нам что-то сказать.

Мы промолчали. Когда я сейчас вспоминаю, как мы стояли в пустынном переулочке и ждали какого-то неизвестного старика, который неизвестно что хочет нам сообщить, мне кажется странным одно: в глубине души мы не были удивлены всей, казалось бы, непонятной историей. Не то чтобы мы ждали, что попадем именно в этот доживающий в полном молчании последние месяцы район и встретим именно эту зловещую старуху и этого таинственного старика. Нет, все было для нас неожиданно. Но, наверное, в глубине души давно уже каждый из нас не очень-то верил Петькиным письмам. Наверное, каждый из нас понимал, что какие-то слишком уж благополучные приходят от Петра вести. Не могут же в самом деле девять лет складываться обстоятельства так, что ни разу не удалось ему приехать повидать своих ближайших друзей. И еще, подумал я, слишком легко верили мы радостным Петькиным новостям. Верили потому, что каждый из нас был выше головы занят своими делами, своей работой, своими удачами и неудачами. Нам очень хотелось верить, что о Петьке думать и волноваться нечего, что у него все благополучно и, стало быть, он в нас не нуждается. В сущности говоря, мы второй раз в жизни предали нашего друга. В первый раз тогда, девять лет назад, когда мы прошли по конкурсу, а он не прошел, и мы так легко успокоились тем, что какой-то приятель зовет его в какой-то город и обещает устроить в какое-то общежитие. А второе наше предательство было предательство долгое. Оно продолжалось если не девять, то, уж наверное, восемь лет. Восемь лет, в течение которых нас вполне устраивало, что от Петьки приходят счастливые вести и, стало быть, от нас троих не требуется никаких хлопот. Второе предательство было, пожалуй, еще хуже, чем первое. Ему не было оправданий.

Мы уже, наверное, минут десять ждали, когда в чахлам садике, окружавшем дом с забитыми окнами, возле которого мы стояли, появился наконец наш старик.

Этот старик не ел откормленного мальчика и поэтому был худ, как и положено сказочному старику. Он был в старых, разбитых валенках, на которых были надеты какие-то рези-

новые сооружения. У них есть специальное название, но я его позабыл. Они были красные, склеенные из автомобильной камеры, наверное, каким-нибудь кустарем-одиночкой. На старике были бумажные потертые штаны и очень старая, очень потертая военная гимнастерка без пояса. Думаю, что приблизительно так был одет, кроме, конечно, гимнастерки, тот старик, который однажды поймал рыболовным неводом золотую рыбку – свое счастье, и которому погубила это счастье глупая и злая его старуха. Тощая бороденка болталась у него под подбородком, как будто ее приклеил плохой театральный гример. А на голове, лихо избочась, сидела совершенно вытертая меховая шапка.

Старик появился из глубины двора. Наверное, он предпочитал не идти по улице. Боялся, что старуха его выследит. Он, наверное, пробирался какими-то задами, пролезал через какие-то щели в заборах. Это можно было угадать по тому, как он задыхался, по тому, как тек по его лицу пот.

Остановившись в глубине двора, он начал кивать головой и манить нас к себе. Сергей решительно открыл калитку и вошел во двор. Мы с Юрой зашагали за ним.

Старик все отступал, будто заманивая нас, и, только когда мы все четверо зашли за дом, он остановился и позволил к себе подойти.

– Петька вас ждал, – сказал он. – Телеграмму ему принесли, что вы едете, он и заполошился. Туда кидается, сюда кидается. А после письмо вам написал. Старухе сказал, чтобы вам передала, и немного перед вами куда-то пошел. А старуха письмо прочитала – что поняла, а что и не поняла. Оно с загадкой. Бабка у меня хорошо грамотная, а прочесть только половину смогла. Половина не по-людски написана. Она подумала: может, донос какой или что. Словом, заявление. Порвать-то побоялась, думала, может, придет Петя, спросит, а захала его за зеркало. Она думала, что я сплю, да только я подсмотрел. Думаю, может, придут, за письмо на четвертиночку дадут. А то что ж она без меня решает... Дом-то на мое имя. Я хозяин. А она все себе, все себе. Вот я, пока она с вами кудахтала, письмо взял, вам сигнал подал и огородами – сюда. Она уж небось доискала. Мне теперь по шеем будет наложено. Но я смотрю – люди представительные. Дадут, думаю, на четвертиночку, и черт с ней, пускай потом дерется. Я когда пьяный, так мне не больно.

– Письмо, – хмуро сказал Юра и протянул руку.

– А вы требуйте, требуйте у нее, – продолжал старик, не обращая на Юру внимания. – Не имеет она права вас не пустить. У него по пятнадцатое уплачено, а нынче только седьмое. Значит, он комнате хозяин. А он велел вас пустить. Он с пятнадцатого не платил, а вчера вечером у него Клятов был. Они чего-то долго шептались. Он, видать, у Клятова деньги взял и старухе при мне двадцать рублей отдал. Значит, до пятнадцатого уплачено. Старуха побежала – пол-литра взяла. А мне одну только стопочку нацедила, и то не доверху. Все сама, подлая, выдула. А мне неполную стопочку... А дом-то на мое имя.

– Письмо, – сказал Юра, и лицо у него было такое, что спорить с ним не имело смысла.

Мы, его друзья, уже точно знали, что, когда у него такое лицо, с ним не поспоришь. Тут его надо отвлечь или развеселить, а то хлопот не оберешься. Знала это, между прочим, и Нина. Она была женщина волевая, и Юрка ее обычно слушался, но когда у него становилось такое лицо, то слушалась уже она. Она, смеясь, рассказывала, что все не знала, выходить за него замуж или не выходить, а потом он лицо сделал, она испугалась и вышла.

Я решил, глядя на Юрку, что деду сейчас придется плохо. Но старик то ли не соображал, то ли был человек бесстрашный.

– Мне бы на четвертиночку... – сказал он, как будто не ставя условие, а так, как говорили когда-то лакеи: «С вас на чайк». Однако он не сделал никакого движения, которое показывало бы, что он собирается достать письмо. Так что на самом деле это все-таки было условие.

Юрка стал наливать кровью, но в это время Сергей протянул старику два рубля. Я даже не заметил, куда они исчезли, с такой быстротой старик схватил их и куда-то спрятал.

Будто двух рублей никогда и не было. Старик сразу потерял к нам всякий интерес. Мысли его были теперь где-то в магазине, возле прилавка с водкой. Он на минуту, кажется, забыл, что мы существуем, и повернулся, собираясь бежать в этот замечательный, так редко встречающийся в его жизни магазин.

– Письмо, – сказал в третий раз Юра, и я испугался, что он убьет старика.

Старик опомнился. Он снял с головы шапку, вытащил из-под подкладки сильно замаслившееся, написанное чернильным карандашом письмо.

Юра взял его, и старик исчез. Просто так: был – и нет его. Наверное, уполз в какую-нибудь дыру в заборе, через которую открывался кратчайший путь к тому замечательному магазину.

Мы вышли в переулок, уселись на лавочку и стали читать письмо.

Сейчас, когда я пишу эту повесть, письмо лежит передо мной, и я переписываю его от слова до слова.

«Дорогие братики!» – так начиналось это письмо, и слово «братики» сразу ввело нас в атмосферу детского дома и заставило вспомнить Афанасия Семеновича и нашу детскую жизнь, в которой много было хорошего, в которой у нас были секретные разговоры и общие планы, и общие мысли, и общие надежды. И Петька, теперь опустившийся, – мы уже знали, что он опустившийся человек, – увиделся нам верным нашим другом, и как-то сразу понял я, да нет, наверное, мы все трое поняли, что если он и опустился, если жизнь его и не удалась, то есть в этом, конечно, и его вина, но еще больше вина наша, нас, «братиков», дважды его предавших.

Юра, прочитав обращение, помолчал и пожевал губами. У меня в горле тоже стоял ком.

«Дорогие братики, – снова начал читать Юра, – я всегда знал, что когда-нибудь мне придется вам все рассказать. Я только думал, что это будет гораздо позже, да надеялся, что, может быть, этого и совсем не будет, что прежде меня раздавит машина или кто-нибудь треснет бутылкой по голове. Так или иначе, вы едете ко мне, и я предпочитаю написать письмо, чем посмотреть вам в глаза. Думаю, что больше вас никогда не увижу. Не потому, конечно, что мне не хочется. Я бы с радостью отдал весь остаток своей никчемной, дурацкой жизни за то, чтобы хоть разок посидеть нам всем, вчетвером, поговорить, как мы говаривали прежде.

В общем, я сам во всем виноват. Валить мне не на кого, да я этого и не хочу. Вкратце вот что произошло: когда я, единственный из четверых, не прошел по конкурсу, мне было, честно говоря, очень обидно. Я решил, что не буду надоедать вам своими переживаниями. Ссылаться на то, что на экзаменах играет роль случай, – значит, обманывать себя и вас. Я вам, конечно, наврал про своего приятеля, который меня зовет в Энск и обещает там работу и общежитие. Я просто взял карту и покатиł горошину. Горошина остановилась на Энске, я туда и поехал. Я снял комнату у теперешних моих хозяев, а через две недели уже работал на заводе, получил общежитие и переехал. Опять у меня были равные с другими условия. Я опять участвовал в конкурсе. Только в том конкурсе, который я проходил в институте, из десяти человек выбывало девять и проходил один. Теперешний конкурс был много легче. Здесь из многих людей выбывал только один. И все-таки этим одним выбывшим опять ухитрился стать я. Вероятно, дело в том, что я человек ничтожный. Точно зубная боль, мучила меня мысль, что вы ушли далеко вперед, а я остался на месте. Знаю все, что вы бы сказали мне: тысячи людей в моем положении живут хорошо и хорошо работают, кончают заочный институт или техникум или просто получают высокую квалификацию и живут жизнью, заслуживающей уважения. Поэтому я и говорю, что я человек ничтожный. Зависть или уязвленное самолюбие, называйте как хотите, не давали мне покоя. Впрочем, может быть, и этому я придаю слишком большое значение. Всякий забулдыга ищет себе оправдание, и некоторые придумывают очень хитрые. Считайте, что просто я слабоволен и только поэтому стал тем, что я есть сейчас.

Создавалось вранье мое понемногу. Сначала мне не хотелось быть хуже вас, и я написал, что не могу приехать, потому что не дают отпуска или почему-то еще – я уже не помню, что

я выдумал в первый раз. На самом деле просто я за год ничего особенного не достиг и решил, что увижу вас тогда, когда будет чем перед вами похвастать.

Вероятно, с такою мыслью нельзя начинать жизнь. Мне хотелось достичь как можно большего не потому, что я любил свою работу и увлекался своим делом, а только потому, что хотел оказаться не хуже вас.

Не буду излагать свою жизнь во всех подробностях: я чувствую, как приближается ваш поезд, а мне надо кончить письмо, да и других дел много. Скажу коротко: все я вам наврал. И портрет мой никогда не висел на почетной доске, и в райсовет меня не выбирали, и свадьбу мою не праздновали. Каждый год я придумывал причины, по которым не могу приехать на седьмое сентября, но и причины эти как-то невольно оказывались хвастливыми. Получая от вас ответ, я каждый раз удивлялся, что вы, братики, не чувствуете, как я вру...»

Тут Юрка остановился и всхлипнул. Честное слово, сейчас, когда все это уже далеко, я сам удивляюсь, как мы все трое не разревелись. Пусть бы он лучше прямо написал, что мы равнодушные люди, эгоисты и себялюбцы. Мы бы хоть могли оправдываться. А тут и оправдываться было не перед кем. Он нас ни в чем не обвинял.

Юрка достал носовой платок и высморкался. Мы все трое немного пришли в себя. Потом Юрка продолжал читать:

– «...Единственное, братики, что я вам не наврал, – это то, что мне дали комнату и что я женился. Женился я на очень хорошей, просто замечательной девушке Тоне Ивановой, ныне Груздовой. Нам дали комнату по Советской улице, дом двадцать, квартира сорок четыре. Дали комнату, наверное, потому, что на заводе добрые люди. Честно говоря, я комнаты не зарабатывал. Тоня знала, что я много пью, но не знала почему. Про уязвленное мое самолюбие я рассказываю вам первым. Думаю, что мое пьянство только усилило ее любовь ко мне. Она из тех женщин, которым обязательно надо кого-нибудь спасать. Если бы я был писателем, я бы написал о таких женщинах особенную книжку. У нас, действительно, родился сын, как я вам и писал. Когда я еще раз пишу вам об этом и называю ее адрес, я делаю, наверное, еще одну подлость. Я ведь знаю вас, братики. Вы будете считать себя опекунами Тони и моего маленького сына, а я не уверен не только в том, смогу ли я им когда-нибудь помогать, но даже увижу ли я их когда-нибудь. Пока бухгалтерия по моему заявлению выплачивала Тоне часть моей зарплаты, все было еще ничего. Но год назад меня выгнали с завода за постоянные прогулы, и вот уже год как я Тоне ничего не даю. Правда, она работает, а Володька в яслях. Я от них ушел больше года назад. Ушел просто, чтоб их не срамить. Что это за муж, который каждый вечер приходит чуть не на четвереньках да еще устраивает скандалы! Две потери у меня были в жизни: вы, мои братики, и жена с сыном. Хорошо хоть, что телеграмма ваша пришла как раз в тот момент, когда я решил потерять третье: остатки совести. Благодаря этой телеграмме я вовремя опомнился...»

Дальше шло что-то совершенно непонятное, какой-то набор букв: «еН етировоґ мавеязох и еноТ отч, я зечеи адгесван. илсЕ ыв етедуб у янем яндогес моречев, адгок тедирп ок енм кеволеч, уме ежот ен етировоґ!»

– Ничего не понимаю, – сказал Юра.

Сергей взял письмо и всмотрелся.

– Зеркальное письмо, – объяснил он. – Надо каждое слово читать с конца. «Не говорите хозяевам и Тоне, что я исчез навсегда. Если вы будете у меня сегодня вечером, когда придет ко мне человек, ему тоже не говорите! Переночуйте у меня. Желаю вам всего лучшего, дорогие братики. Желаю на этот раз всей душой. Зависть или уязвленное самолюбие прошли у меня, и, надеюсь, навсегда. Знаю, что сам во всем виноват. Слишком много я натворил дел.

Бывший братик Петя».

Сергей сложил письмо и спрятал в карман. Мы все трое долго молчали.

## Глава пятая

### Невеселая выпивка

– Так, – сказал наконец Юра, – ох и дураки же мы!

– Мерзавцы, – сказал Сергей.

Мы опять помолчали.

– Куда он мог убежать? – подумал я вслух.

– Опять, наверное, пустил горошину, – сказал Сергей.

Я этого не думал: вряд ли у него дома была карта, да и горошину тоже надо найти, а он ведь торопился. Он чувствовал, как идет наш поезд. Какие же мы были самодовольные, благополучные, преуспевающие, как сказал старик, «представительные» дураки. Мне сейчас стыдно было вспоминать наши сборы. Кеты, видите ли, достали, какое-то вино для иностранных послов, игрушки, гигиенические и негигиенические. А ехали к человеку, который в отчаянии, которому нужно было только сказать: «Давай, Петька, вместе подумаем, как быть». И сейчас мне показалось, что нами руководило совсем не желание навестить друга, а просто желание похвастаться перед ним, что вот, мол-де, мы какие едим деликатесы, какие пьем посольские вина. Я, наверное, был не прав. Если и было у нас желание похвастать, то ведь мы думали, что есть чем похвастать и Петьке. Мы готовились восторгаться его успехами, радоваться тому, как он счастливо живет, какая у него хорошая жена и необыкновенный мальчишка. Впрочем, мы же чувствовали... Да, наверное, чувствовали, но сами в этом себе не признавались. Так все-таки как же было? Знали мы или не знали, что у Петьки плохи дела? Почему семь или шесть, или пять лет назад не собрались мы к нему поехать? Хоть не все трое, хоть один кто-нибудь. Не обязательно 7 сентября, хоть в любой другой день! Да, мы подозревали правду и не хотели подозревать, догадывались и прогоняли эти догадки. Почему? Потому, вероятно, что не хотели хлопот! Потому, что знали: если признаемся сами себе, что не верим в Петькино благополучие, значит, надо бросать дела, работу, налаженную жизнь и мчаться ему на помощь! А может быть, просто не хотели верить, что наш Петька может оказаться никчемным человеком. Что может у него быть жизнь неудавшаяся не по каким-то случайным причинам – по собственной его вине. Может быть, это от хорошего, а не от плохого? Наверное, было и то, и другое, и третье. И неважно, что одно противоречит другому. Человек противоречив.

Не знаю, о том ли думали мои друзья, но они тоже молчали, и первым молчание прервал Сережа.

– Вот что, товарищи, – сказал он, – выяснять, мерзавцы мы или не мерзавцы, будем потом. Сейчас надо решить, что делать. Прежде всего, где Петьку искать. Я думаю, надо вернуться к старухе. Может быть, она хоть что-нибудь знает.

Юра смотрел то на меня, то на Сережу. Он, очевидно, ждал, что мы все продумаем и скажем, что делать. А уж он тогда развернется.

– Петька просит старухе не говорить, что он уехал, – напомнил я.

– Мы и не скажем. – Сергей встал и начал прохаживаться перед нами. Тут можно было говорить громко, не боясь, что кто-нибудь подслушает. – Для старухи мы просто ждем его, вот и все. В его комнате и переночуем.

– Больно уж люди мерзкие, – сказал Юра.

– Потерпишь, – кинул ему Сергей. – Какой-то человек придет к Пете вечером. Тоже может что-нибудь сказать. Потом к Тоне зайдем...

– А к Тоне когда же? – спросил я.

Сергей посмотрел на часы.

– Сейчас три часа. Тоня придет с работы, наверное, часов в пять. Кончит работу в четыре и за мальчонкой в ясли пойдет. Значит, и мы к ней заявимся в это время. Теперь первое, что



надо сделать, – это прорваться в Петькину комнату. Письмо получили за четвертинку, старухе придется, наверное, дать пол-литра. Кто-нибудь из вас собирается пить водку? – Он даже не ждал нашего ответа. – Вот и отдадим ей «Столичную». И чемодан легче будет, и старуха во хмелю разболтается. В пять часов пойдем к Тоне, а к семи вернемся и будем ждать этого человека. Потом надо разыскать Клятова.

– Какого Клятова? – удивился Юра.

– У которого он вчера деньги одолжил. Кстати, интересно: он одалживал деньги после получения телеграммы или до? Нет, вчера вечером. Конечно, до.

– Эх, Нинка, Нинка, – пробормотал Юра, – я думал, она шутит.

– Да, – согласился Сергей, – конечно, проще было бы, если бы мы застали его. Ну да ладно. Девять лет мы себя избавляли от всяких хлопот. Теперь придется похлопотать. Сколько у тебя денег, Юра?

– У меня рублей семьдесят, но можно Нине телеграфировать. У нас на книжке рублей триста. В крайнем случае, она рублей двести еще одолжит.

– А у тебя, Женя?

– Я взял все, что было. У меня триста с чем-то.

– У меня меньше, – сказал Сергей, – у меня сто. Ну, в общей сложности у нас около восьмисот, да, в крайнем случае еще двести Нина может занять. Значит, на тысячу мы рассчитывать можем. Теперь как со временем?

– У меня две недели, – сказал я.

– Я дам телеграмму, – сказал Юра. – Думаю, что две недели мне тоже дадут.

– Мне придется позвонить шефу, – сказал Сергей. – Но я объясню ему, что случай серьезный, и на две недели он тоже меня отпустит. Что ж! Две недели и тысяча рублей. Этого хватит.

– А ты что, – удивился Юра, – предлагаешь ехать за Петькой?

– А ты что, – передразнил его Сергей, – предлагаешь ехать домой и в свободное время огорчаться, что у Петьки все так неудачно сложилось?

Юра покраснел. Он совсем не такой человек, чтобы отказаться ехать, просто неожиданные мысли всегда кажутся ему странными. Ему надо хоть немного времени, чтобы освоиться с новой мыслью и привыкнуть к ней.

Сергей решительно взялся за ручку чемодана.

– Значит, первая наша задача, – сказал он, – въехать к старухе. Дайте мне говорить и не спорьте. Понятно?

Мы пошли к дому Бабы Яги.

Сергей поставил чемодан на крыльцо, спокойно подошел к окну и постучал в мутное стекло. У него был такой вид, будто возвращается он к себе домой и никакие сомнения, что его не пустят, не могут ему даже и в голову прийти.

Старуха оказалась в окне. Кажется, она была очень сердита. Но Сергей не стал с ней объясняться, а кивнул головой на дверь и поднялся на крыльцо.

То ли старухе было интересно, что мы можем еще сказать, то ли собиралась она отчитать нас как следует, чтобы мы больше не совались, во всяком случае, дверь открылась. Сергей сразу просунул в нее чемодан.

– Вас как по имени-отчеству, мамаша? – спросил он так спокойно, как будто мы сняли у нее комнату и заплатили вперед.

– Александра Федосеевна, – растерявшись, сказала старуха.

Сергей с чемоданом был уже в сенях. За ним вошли и мы с Юрой. Сени были просторные и очень захламленные. Тут стоял, прислоненный к стене, пружинный матрац, наверное, крупнейшее средоточие местных клопов, и какие-то сломанные стулья, и стекла самого различного размера, так что нельзя было понять, в какие окна их собирались вставить. Ну конечно, была коллекция стеклянных банок из-под консервов, и какие-то лопаты, и какой-то холщовый

мешок, набитый чем-то непонятным. Углы этого «чего-то» торчали самым беспорядочным образом, так что нельзя было даже предположить, что в мешке находится.

Именно здесь, на этой несколько захлавленной и полутемной площадке, старуха, кажется, собиралась дать бой, чтобы предотвратить наше вторжение в комнату. Но Сергей не дал ей времени приготовиться к бою.

– Консервный нож у вас есть? – деловито спросил он. – И четыре стакана?

Старуха опять растерялась и, выпустив с шумом воздух, который она набрала, чтобы начать ругаться, ответила в вопросительной форме, оставляя, таким образом, за собой некоторую свободу действия:

– Ну, есть, а что?

– А у нас пол-литра есть, – сказал так же деловито Сергей, – и банка с кильками. Если б открыть ее, вот бы и закуска была. Может, вы бы за хлебом сходили? А то мы не знаем, где тут булочная.

– Хлеб есть, – сказала старуха, и мы таким образом вступили с ней в некоторые паевые отношения насчет выпивки и закуски.

– Ну, давайте ваш нож, – сказал Сергей таким тоном, будто ему до смерти не терпится выпить. – Водка у нас, между прочим, «Столичная». – Это было замечено скромно, но все-таки так, что старуха должна была оценить, какими деликатесами собираемся мы ее угощать.

Как ни странно, но на старуху это подействовало. Она, правда, проворчала что-то, но не стала спорить, когда Сергей взялся за ручку двери, и даже отодвинулась в сторону, чтобы дверь можно было отворить.

Мы вошли в кухню. Здесь была обыкновенная плита, пристроенная к русской печке, и можно было наверняка сказать, что ни плита, ни печка давно не топились. Хозяева, наверное, ели хлеб с колбасой, а может быть, питались и одной водкой. Много ли, в сущности говоря, человеку нужно?

Хозяйка признала свое поражение полностью. Она торопливо прошла в другую дверь и, правда, не пригласила нас следовать за собой, но оглянулась с таким выражением лица, что это можно было принять хоть и не за любезное, но все-таки за приглашение.

Впрочем, она, кажется, собиралась быть даже любезной. Во всяком случае, войдя вместе с нами в Петькину комнату, она сказала: «Располагайтесь» – и сделала такое движение, как будто хотела выйти и оставить нас одних. Но Сергей закричал ей:

– Александра Федосеевна, давайте нож, хлеб, и сразу сядем!

Тут старуха, увидя, что пока обмана нет, улыбнулась какой-то другой, не своей улыбкой, тоже противной, но все-таки не такой злой.

В комнате Петьки стояли кровать с железной сеткой и плоским тюфячком, застланная темным полушерстяным одеялом, квадратный стол, покрытый клеенкой, на котором он, вероятно, писал полученное нами письмо, несколько гнутых венских стульев и диван, который, по замыслу, должен был, вероятно, иметь спинку, но почему-то ее не имел.

Над столом свисал патрон с очень пыльной лампочкой без всякого абажура. Больше в комнате ничего не было. Окна заклеивали, наверное, даже не прошлой зимой, а несколько лет назад – так пожелтели полоски газетной бумаги.

Пока я осматривал комнату, Сергей открыл чемодан, вытащил бутылку водки, банку килек и знаменитое вино, которым угощают иностранных послов. Очень быстро открыл он обе бутылки. У него были причины торопиться, потому что старуха уже входила, неся четыре граненых стакана, в каждый из которых было всунуто по одному ее пальцу, и тарелку с черным засохшим хлебом.

Юра открыл кильки ножом, который старуха вытащила из кармана. Мы сели за стол, запыхавшись от спешки. Как будто все мы бежали наперегонки к бутылке с водкой, но прибежали одновременно и водку теперь придется делить на четверых.

Юра налил старухе полстакана и спросил:

– Вы как, Александра Федосеевна, любите?

– Да мне все равно, – ответила Александра Федосеевна и приставила толстый палец к стакану немного выше уровня водки.

Сергей налил еще – палец тоже поднялся. Как будто шло соревнование между этим толстым, очень грязным пальцем и струей водки. Как только водка догоняла палец, он поднимался. Закончилось это соревнование на самом верху стакана, когда в нем больше и капля не поместилась бы.

– Мы, Александра Федосеевна, будем пить вино, – сказал Сергей. – Во-первых, мы в поезде хорошо тянули, а во-вторых, нам сегодня в пять часов надо у главного инженера быть. Вот вечером вернемся и тогда уже выпьем.

Старуху не интересовало, к какому главному инженеру мы идем и почему вернемся. Вероятно, выпив поллитра, она с утра мечтала опохмелиться. Хотя у нее оставалось семнадцать рублей от Петиних двадцати, может быть, она считала нужным распределить их так, чтобы целую неделю выпивать, или же просто решила додержаться до вечера. Словом, какие-то были у нее свои хитрые планы, и, очевидно, судьба послала нас в очень трудную для нее минуту.

Подняв стакан, как ни странно, рука у нее не дрожала, она, от торопливости ничего не произнеся, торжественно и серьезно влила его себе внутрь. Сережа начал было говорить какой-то тост, но, поняв, что это совершенно лишнее, поднял стакан с вином. Мы с Юрой тоже подняли свои стаканы. Если бы это был просто грязный стакан, я бы, наверное, выпил вино, тем более что Сергей налил каждому очень немного, но, так как я видел в этом стакане толстый старухин палец, я не решился пить. Увидя, что старуха целиком занята сложными своими переживаниями, связанными с проглоченным стаканом водки, я опустил стакан, даже не коснувшись его губами.

Старуха между тем кончила переживать. Тогда она опустила два пальца в банку с кильками, схватила кильку за хвост, вытащила и опустила ее головой вперед всю, целиком, себе в рот. Юра фыркнул, но, вспомнив вовремя, что смеяться над пожилым человеком нехорошо, сделал вид, что чихнул, и даже достал для правдоподобия носовой платок.

– Ну-с, Федосеевна, – сказал Сережа, переходя на интимный тон, – так как, вы дружите с нашим Петром?

– Когда деньги платит, так дружим, – сказала Федосеевна и хихикнула. Ей это казалось, очевидно, смешным.

Сергей взял бутылку и, не дожидаясь старухиных указаний, налил ей опять полный стакан.

Удивительная это все-таки была выпивка. Мы сидели четверо за столом и перед всеми стояли налитые стаканы. Со стороны посмотреть – собралась дружная компания и ведет за рюмкой неторопливый разговор. А на самом деле все было не так. Мы трое не прикасались к стаканам. Пила одна старуха. И я никогда не видел, чтобы так пил человек.

Второй стакан она тоже опрокинула, и даже по горлу незаметно было, что она глотала. Снова толстые ее пальцы поймали кильку за хвост, и килька нырнула ей в горло головой вперед. Я хотел было сказать Сергею, что, пожалуй, старухе хватит, а то от нее ничего не добьешься, но куда там! Я даже рот не успел раскрыть, как старуха, на этот раз сама, вылила остатки водки в стакан и, не задерживаясь ни на секунду, перелила их себе в рот.

После этого нам оставалось только ждать, что произойдет дальше.

Процесс опьянения шел быстро. Одна стадия, не задерживаясь, переходила в следующую. Сначала старуха покраснела, и что-то похожее на веселье мелькнуло у нее в глазах. Но тут же, минутой спустя, веселье исчезло. На глазах у нее выступили слезы, и что-то она сказала непонятное, но, наверное, грустное, потому что вид у нее был такой, будто горевала она о безвозвратно ушедшей молодости. Но и период тоски прошел так же быстро, не успев как следует

осуществиться. Старухе захотелось петь. Наступила музыкальная стадия опьянения. Она спела половину музыкальной фразы, кажется, даже вторую ее половину, и настала стадия разговоров, та, которую мы, собственно говоря, ждали. Старуха погрозила нам пальцем, как будто разгадала какие-то хитрые наши замыслы, улыбнулась, как будто нашу хитрость видит насквозь, и сразу об этом забыла. Она подперла толстым кулаком толстое грязное лицо и задумалась.

– Скажите, Александра Федосеевна, – спросил Сергей, решив, что настало время для разговора, – Петька куда ехать не собирался? Вы не слышали?

Старуха посмотрела на меня. Это получилось случайно – она могла бы посмотреть в окно или на Юру, или на диван. Встретившись с ней глазами, я понял, что она уже была где-то в другом мире, в четвертом или пятом измерении. Никаких средств общения с ней не существовало. Мы ее видели, а она и не видела и не слышала нас. Какие-то в ней происходили биологические процессы. Может быть, мелькали даже и мысли в голове, но отдельные, разорванные, ничем не связанные между собой. Чему-то она опять будто бы улыбнулась, потом опять не то всхлипнула, не то икнула, потом положила голову на стол, что-то пробормотала и заснула.

– Концерт окончен, – сказал мрачно Сергей. – Пошли к Тоне.

В это время вернулся из магазина старик. Мы узнали об этом по грохоту в сенях, по обрывку песни и по короткому, но энергичному взрыву ругани. Старик, видно, вернулся в боевом настроении и, как опытный тактик предпочитал переходить в наступление первым. Впрочем, не зная, что в Петиной комнате сидим мы, он прошел, не заглянув к нам, в другую комнату, в которой, очевидно, жили хозяева. Сергей, держа в одной руке чемодан, в другой портфель, стоял у двери, прислушиваясь.

– Ушла, проклятая! – закричал старик, не обнаружив в своей комнате жены. – Ну погоди, придеешь, я тебе покажу, на чье имя дом!

Потом была тишина. Потом уже невнятное старик пробормотал что-то о том, что он, если захочет, вообще не пустит ее, и на этом запас его энергии кончился.

– Теперь будет спать, – спокойно сказал Сергей, открыл дверь и вышел.

На улице было по-прежнему тихо и безлюдно. Только в самом конце улицы стоял грузовик, которого раньше не было. Над кабинкой водителя возвышался шкаф и край матраца. Два человека вынесли из дверей и понесли к машине стол. Последние жители уезжали из Ямы. Я подумал о том, куда переедут старик со старухой.

Конечно, им дадут комнату в новом доме. Конечно, и в новых домах попадают алкоголики, тупые и злобные люди, и все-таки в моем представлении не могли старики Анохины существовать нигде, кроме как в этом прогнившем доме, кроме как на этой мертвой улице, в этом умирающем мире. Для них были естественны липкая грязь на дороге и покосившиеся заборы, и какие-то мелкие секретики, вся эта жизнь, которая уже не вяжется с людьми, живущими в новых квартирах с современной ванной и отдельной кухней, не вяжется с обычным сегодняшним бытом. Я оглянулся на дом, который мы оставляли. Он стоял молчаливый, притаившийся, с пыльными стеклами, покосившимся крыльцом, плотно прикрытый входной дверью. Я не знал про старика и старуху ничего, кроме того, что они противные люди и пьяницы, но мне казалось, что дом скрывает какие-то преступления, тайные сговоры, темные дела.

## Глава шестая

### Жена и сын

Тоня Груздева жила в четырехэтажном стандартном доме на первом этаже. Мы позволили, и она сама открыла нам дверь. Это была маленького роста, худенькая женщина с большими испуганными глазами. Я не точно сказал. Когда она увидела трех незнакомых мужчин с чемоданом и портфелями, она, конечно, испугалась. Но потом, когда мы ей объяснили, кто мы и что мы, и оказалось, что она о нас слышала и по Петиним рассказам нас знает, когда она улыбнулась и пригласила нас зайти, глаза у нее все еще были расширены и казались испуганными. Я потом уже понял, что глаза у нее расширяются не от испуга, а просто от волнения, от всякого сильного чувства. Наверное, от радости тоже, хотя радостной мне пришлось увидеть ее нескоро. Она, как я понимаю, была человеком сильных и скрытых чувств, очень, наверное, глубоко и серьезно переживала то, что многих людей даже не затронуло бы. Вот уж действительно свела ее судьба с Петей, с его пьянством и буйными возвращениями домой!

В комнате стояли никелированная кровать, стол, накрытый клеенкой, шкаф, наверное, еще родительский, потому что уже лет пятнадцать таких шкафов не делают, и детский манежик, в котором мельтешил необыкновенно жизнерадостный парень с румяным и толстощеким лицом. Увидя нас, он начал подпрыгивать и издавать непонятные звуки. Этот способ выражения чувств, вероятно, единственно возможен в его возрасте. Мы не без основания решили, что он нас приветствует, столпились все трое возле манежика и начали развлекать молодца. Надо сказать, что, поскольку мы все трое пока бездетные и о педагогике имеем самые общие представления, особенного разнообразия в наших приемах не наблюдалось. Мы все трое вытянули вперед правые руки, выпрямили на каждой руке по два пальца (указательный и средний) и начали тыкать несчастного младенца этими пальцами в самые разные места. При этом мы все трое на разные тона тянули букву «у-у-у-у». Мы все помнили, что называется это «делать козу». Ничего другого никто из нас предложить ребенку не мог. Нормальный ребенок заревел бы благим матом, но Володька с его неисправимой жизнерадостностью не подкачал. Он только еще больше развеселился от этих устрашающих жестов и начал просто заливаться хохотом. Прodelав этот ритуал, мы бросились к чемодану и к портфелям и завалили бедного ребенка такой грудой игрушек, что он понял: дело становится нешуточным. Тогда он сел на пол и начал их разбирать. Как ни странно, его внимание привлекли стерильные игрушки. Он начал совать их в рот, считая нужным попробовать на вкус эти яркие штуки непонятного вида. Мне осталось утешаться тем, что две мои обезьяны и замечательный медведь станут предметом Володькиной хотя и более поздней, но зато долговечной привязанности. Мы уже ушли от Тони, когда Юра вспомнил, что игрушки надо было давать по одной.

Таким образом, мы разделились с Володей. Мальчонка был так поглощен игрушками, что больше ни на что не обращал никакого внимания и, по-моему, даже не заметил нас потом, когда мы пытались с ним попрощаться.

После этого мы вытащили из чемодана все наши деликатесы и оставшиеся от запасов спиртного две бутылки шампанского.

Тут наконец осуществилось то, что такими яркими красками расписывал в поезде Юра. Тоня побежала на кухню варить кету, а мы трое стали накрывать на стол и раскладывать по тарелкам закуски. Юра оказался прав: довольно скоро все, кроме варившейся на кухне рыбы, было готово, и мы расселись вокруг стола. Тоня была спокойная, радушная женщина. Мы видели ее в первый раз, а чувствовали себя так, будто знаем ее давным-давно. И ей, видно, казалось совершенно естественным, что мы распоряжаемся в ее комнате, как у себя дома. Она сразу стала членом нашей компании. Так же, между прочим, как стала сразу совершенно своей и Нинка. Я подумал было, что вот, мол, двоим из братиков повезло с женами. Хотел было

высказать свою мысль, но вовремя вспомнил, что не стоит говорить такое жене Петьки, пьяницы, бросившего ее с ребенком. Никак я не мог привыкнуть до конца к этой мысли. Все мне казалось, что это какое-то наваждение, какая-то морока, напущенная домовым из доживающего последние дни гнилого, клоповного дома в Яме.

Но вот выпит первый бокал шампанского, то есть, собственно, не бокал, а граненый стакан, и начинается разговор.

Тоня, конечно же, ничего не знала о Петькиных письмах. Горько улыбается она, когда Сергей рассказывает придуманную Петькину биографию, которая в этих письмах излагалась. Мы рассказываем о письмах без осуждения, стараясь быть спокойными. Рассказываем с той интонацией, с какой врач излагает симптомы болезни профессору-консультанту.

Потом мы рассказываем подробности нашего визита к Петьке, рассказываем про старика и старуху, говорим, как это все было для нас неожиданно, а Тоня слушает, подперев кулачком голову, и молчит, и только глаза у нее расширены от внимания, от напряженных мыслей, которые вызывает в ней наш рассказ.

Потом Сергей достает Петино письмо и протягивает ей.

Она читает это письмо, и глаза у нее расширяются еще больше. Она, наверное, не согласна с Петей, она ведет с ним про себя не слышный нам разговор.

Потом она вспоминает, что надо посмотреть рыбу, и уходит на кухню. Что-то долго смотрит она эту рыбу, и я почему-то представляю себе, что она стоит у плиты и не видит рыбы, а шевелит губами, продолжая вести свой взволнованный спор с Петром. Может быть, из расширенных ее глаз одна за другой медленно скатываются слезы.

Потом она возвращается. Рыба еще не готова. У Тони покраснели глаза. Слишком горяч был, наверное, пар из кастрюли.

Она садится и молчит. Молчим и мы. Что будешь говорить!

И тут взрывается Сергей. Он начинает объяснять, что виноваты мы, потому что по душевной лености предпочитали верить этим письмам, в то время как давно надо было приехать. Как всегда, у Сергея все звучит немного преувеличенно. Конечно, мы оказались ленивыми друзьями и могли бы гораздо раньше понять, что происходят с Петром нехорошие вещи. Но у Сергея получается так, что мы одни во всем виноваты, а сам Петя просто ангел, которого плохие друзья довели до ручки.

Тоня слушает, подперев голову кулачком, и глаза у нее большие-большие. Испуганные, как я думал сначала, напряженно-внимательные, как я понимаю теперь.

И когда Сергей замолкает, Тоня, выждав и убедившись, что больше ему говорить нечего, думает еще минутку и отрицательно мотает головой.

– Нет, – говорит она, не обращая к нам, а как будто думая вслух, и уверенно подтверждает: – Нет! Не в том дело, что вы не приезжали, да и не в том, что вы поступили в институт, а он не поступил. И старуха со стариком ни при чем. Что же, что они пьяницы, неужто ж Петя таким лягушкам подчиняться может!

Я сперва не понимаю, почему она говорит «лягушкам», но потом думаю, что старуха в самом деле похожа на старую, раздувшуюся лягушку. Может быть, скорее на жабу.

– Нет, – окончательно решает Тоня, – и не в них дело. Петя ведь человек добрый и работник хороший. Седьмой разряд у нас даром не дают. Он только очень слабый. Я почему говорю – добрый: ведь он от меня ушел потому, что ему меня было жалко. Он, знаете, все собирался новую жизнь начать. Уйдет куда-нибудь, ну хоть в эту Яму, к Анохиным, возьмет себя в руки, опять на работу поступит, а тогда уж игрушек купит Володьке – он ведь очень Володьку любит, – мне отрез или там, например, духи и придет. И все будут говорить: чудо произошло с человеком. Он хочет все сразу. Он понемногу не может.

Я слушаю Тоню и понимаю, что обо всем этом было думано-передумано не один день да и не одну ночь. Наверное, и с Петькой было об этом говорено-переговорено. И Петька с этим,

наверное, соглашался. Теперь, когда я видел Тоню, я понимаю, что не случайно он женился на ней. Не та была Тоня женщина, на которой можно случайно жениться. И худенькая была она, и росточка небольшого, а сила убежденности была в ней огромная. Не с чужих слов она думала. Таких, как она, попробуй в чем-нибудь убедить. Такая должна все сама передумать, сама все понять и решить. Зато уж если решила, ее не собьешь.

– Мы первое время с ним хорошо жили, – снова заговорила Тоня. – И пить он не пил. Ну, иногда принесет к обеду четвертиночку. И когда Володька родился, он приехал за нами праздничный такой, нарядный. Потом месяца не прошло, я его к обеду ждала, а он только утром пришел. Расцарапанный, в синяках, пиджак где-то сняли, часы, пропуск на завод пропал. Ну, я понимала, что ему плохо. Я ругать-то его не стала. Поел он, чаю выпил, лег спать. Я в консультацию пошла. Надо было Володьку показать. Прихожу, а его уж нет. И письмо лежит. Пишет, что я очень уж хороша, что он со мной жить не может потому, что он очень плохой, но что он твердо решил: он исправится и тогда ко мне придет. Ну, а где ему одному исправиться... Через год его и с завода уволили. Я почему узнала: мне бухгалтерия деньги перестала переводить. Он там заявление оставил, чтоб половину зарплаты мне. – Тоня невесело усмехнулась. – Что ж, мне деньги его нужны, что ли? Я Володьку и сама прокормлю.

– Не понимаю, – сказал Сергей, – может быть, у него наследственный алкоголизм, что ли? Мы ведь родителей своих не знаем.

– Да ну. – Тоня махнула рукой. – Какой тут наследственный! Просто дружки хороши. А он человек слабый. Тут есть один такой, Клятов. Он из заключения вернулся, с Петей в одном цехе работал. Потом будто бы Клятов этот что-то с завода вынести хотел, я точно не знаю. Его уволили. Говорят, где-то работает. Врет, думаю. Но деньги у него есть. Одевается чисто. Боюсь, на плохие дела пошел. Вот он Пете деньги дает и пьет с ним. Не знаю, не знаю... Очень он плохой человек! И что Петя нашел в нем – не понимаю. И зачем Петя Клятову нужен, тоже понять не могу.

– Он и вчера ему деньги дал, – сказал Юра.

– Да? – У Тони снова расширились от удивления или от испуга глаза. – Как-то все сразу. И деньги Клятов дал, и Петя куда-то уехал. – Тоня подумала. Опустив глаза, она передвинула стакан, в котором уже перестало шипеть выдохшееся шампанское, переложила зачем-то вилку и нож и нерешительно сказала: – А я ведь так и думала, что Петя куда-то бежит... то есть уезжает.

В это время Володька решил наконец поделиться с присутствующими впечатлениями о новых игрушках. Он с удивительной энергией замельтешил в своем манежике, замахал руками и заболтал на своем тарабарском языке что-то, по-видимому, одобрительное: не то «да-да-да», не то «ба-ба-ба». Во всяком случае, понимать это следовало так: что игрушки ему понравились и возбудили в нем целый рой интереснейших мыслей. Тоня вскочила и кинулась к нему. Убедившись, что ничего страшного не произошло, она вытерла ему на всякий случай нос, потом вспомнила о рыбе, охнула и стремительно умчалась на кухню.

Через минуту она вернулась, держа кухонным полотенцем кастрюлю со знаменитой кетой, разложила ее по тарелкам, и хоть лицо у нее и сохранило по-прежнему горестное выражение, она все-таки улыбнулась и попросила нас есть.

Хотелось бы сказать, что у нас от всех треволнений пропал аппетит, но врать не буду. Мы набросились на рыбу, как голодные звери. Одна Тоня ничего не ела и по-прежнему с горестной своей улыбкой, думая о чем-то своем, передвигала стакан с шампанским, переключив вилку и ножик и, наверное, сама не замечала, что делает. Просто руки у нее привыкли двигаться. И думать привыкла она, непременно что-то руками делая.

Сергей совсем потерял совесть. Он съел всю рыбу, которую ему положили, посмотрел на Тоню, увидел, что она занята своими мыслями, смущенно кашлянул, полез в кастрюлю,

положил себе еще здоровенный кусок и торопливо съел его, надеясь, кажется, что никто этого не заметит.

Тоня, наверное, действительно не заметила. Но теперь, когда Сергей насытился, ему стало неловко за свинское свое поведение. Он кашлянул еще раз и, делая вид, что все время размышлял о предмете нашего разговора, спросил у Тони:

– А почему вы думали, что Петя уезжает?

– Я, знаете, – проговорила Тоня медленно, как будто смущаясь, – когда Володьку утром отношу в садик, так мы с ним проходим мимо пустыря. Там, говорят, будут магазин строить. Петя там часто стоял, прятался, на Володю хотел посмотреть. Но только нам не показывался. Там бетонные панели наложены, так вот он за ними прятался и смотрел. Я-то много раз замечала, но все делала вид, что не вижу. Он, думаю, стыдиться будет и убежит. Пусть хоть посмотрит на сына.

– Ну а сегодня? – спросил я.

– Вот и сегодня тоже, – сказала Тоня, – только мне показалось, что ему хотелось к нам подойти. Он два раза совсем почти высунулся. Да, видно, вспомнит все и опять спрячется. Я даже нарочно постояла, будто газету читаю. А показать, что я его вижу, опять побоялась. Думаю, убежит.

Снова вспомнили мы все трое Петьку такого, как мы его знали, живого и веселого человека. Да что там веселого, просто обыкновенного человека, такого же, как каждый из нас или каждый из наших сослуживцев. Не знаю, как Юра и Сергей, а я не мог себе представить нашего Петьку, который прячется за бетонными панелями, чтобы посмотреть хоть издали на родного сына, и больше всего боится, чтоб его не увидела жена, которую он любит. Пусть прошло девять лет, но не может же человек перемениться совсем, ведь ему всего только лет двадцать семь или двадцать восемь. Надо же ухитриться так себе жизнь испортить!

– Тоня, – резко сказал Сергей, – как вы думаете, куда он мог бежать?

– Не знаю, – ответила Тоня, – он ведь нервничал очень, это же по письму видно. И времени подумать не было. Разве он мог рассуждать! Нет, не знаю. – Она опять подумала. – Был у него, правда, один приятель, – продолжала она, – Костя Коробейников. С Петей вместе работал, и они подружились. Он тоже в детском доме вырос, тоже в войну родных потерял. Костя все писал куда-то, и ему милиция нашла родных. Он от них письмо получил. Отец в колхозе работает в Новгородской области. Он к родным и уехал. Петя ему писать хотел. Не знаю, написал или нет.

– А район? – спросил Юра.

Не помню, – сказала Тоня, – не то на «В», не то на «К». Он уже года два как уехал, так я позабыла.

– Тоня, – сказал Сергей, – постарайтесь вспомнить и не обижайтесь на нас: мы сейчас уйдем. Нам еще надо на телеграф – дать телеграммы. Потом к Пете какой-то человек должен зайти, помните, он в письме пишет? Может, Анохины проспят, что-нибудь скажут. Если хоть маленький хвостик будет, мы разыщем его. Не может быть, чтоб никто не знал, куда он поехал. Как бы далеко это ни было, мы поедем за ним.

Тоня еще ниже наклонила голову. Она сомневалась. Не в том, наверное, что мы поедем за Петей, а в том, что Петя вернется к ней. Мы простились с Володькой, которого после долгих уговоров удалось заставить махнуть нам небрежно рукой, после чего он с новой энергией продолжил беседовать с какой-то гигиенической игрушкой на тарабарском своем языке. Мы простились с Тоней на лестничной площадке, пообещав завтра зайти или позвонить на завод и сообщить ей, что нам удалось узнать.

Мы не предполагали, что завтра встретимся с ней в совершенно неожиданном месте и в совершенно неожиданных обстоятельствах.



## Глава седьмая

### Клятов. Начинается долгая ночь

И вот мы опять, скользя по глинистой мокрой дороге, спускаемся в Яму. Чемодан мы оставили у Тони. У каждого в руке только портфель, и все-таки идти очень трудно. По-прежнему моросит дождь. Он сеет и сеет мелкими каплями и еле слышно шумит. Это не тот успокаивающий шум дождя, несущего плодородие полям, сверкающую чистоту улицам, особенную свежесть воздуху. Этот дождь только шепчет, будто уныло и бесконечно жалуется. Монотонно и медленно падают капли с деревьев и крыш. И кажется, это сама Яма в последние свои дни отводит душу и скучно рассказывает, какую плохую, тоскливую жизнь довелось ей прожить.

Еще нет восьми. Темнеет. И как же под этим мелким дождем мертво выглядит Яма! Хотя бы собака какая залаяла, хоть бы кошка пробежала под дождем, спеша спрятаться под крышу, хоть бы женщина с пустыми ведрами попалась навстречу...

Никого. Ни человека, ни зверя. Только доски и бревна намокают и гниют, только падают на мокрую глину капли с деревьев, карнизов и крыш.

Мы уже побывали на телеграфе. Юра ухитрился дозвониться Нине. В отделении связи было слышно все, что говорится в телефонной кабине, и Юра, не желая вводить присутствующих в курс наших дел, объяснялся настолько иносказательно, что, по-видимому, у всех создавалось впечатление, что мы трое запьянствовали, пропили все деньги и просим выслать нам еще. К счастью, Нина хорошо знала Юру и слушала не смысл его слов, довольно бестолковый смысл, а его взволнованный тон. Он без конца повторял одно и то же. «Тут очень плохо, очень, очень плохо!» – кричал он. Потом переводил дыхание и начинал снова: «Очень, очень, очень плохо! Он спился! Семен, Павел, Иван, Леонид, Семен, Яков. Он убежал. Уран, Борис, Евгений, Женя, Александр, Леонид».

Главное все-таки Нина поняла: во-первых, что Юра страшно взволнован и, во-вторых, что нужно телеграфом выслать триста рублей. Она сказала, что сейчас же побежит в сберкасса, которая до восьми, и, наверное, успеет сегодня же перевести. Как мы утром убедились, эта несложная операция ей удалась. Голову прозакладываю, что после этого она всю ночь не спала и старалась разгадать таинственное значение Юриных иносказаний.

После конца этого путаного телефонного разговора Юра и Сергей послали длиннющие телеграммы к себе на работу и в них намекали на какие-то страшные несчастья, по случаю которых и просили предоставить им недельный отпуск. Прodelав все эти телефонно-телеграфные операции, мы покинули асфальт и ступили на неверную, скользкую глину Ямы.

Неужели все жители уже выехали отсюда? Хоть бы из одной трубы шел дым, хоть бы на одном крыльчке сидели люди! Только капли каплют на мокрую глину, и сквозь монотонный звук этих капель особенно отчетливо слышна тишина.

Молчим и мы. Как будто тут, в этом заколдованном, мертвом царстве, нельзя говорить. Только иногда кто-нибудь из нас, поскользнувшись или ступив в лужу, шепотом чертыхается. Невеликое дело – чертыхнуться, но, когда чертыхаешься шепотом, даже обыкновенные эти слова становятся значительными и странными.

Но вот мы уже на Трехрядной улице, и уже видна полусгнившая лавочка перед домом, полусгнившее, покосившееся крыльцо.

Я, да, наверное, и каждый из нас, думал о том, как мы проникнем в Петину комнату. Чего угодно можно было ожидать от стариков Анохиных. Они могли уйти, заперев наглухо дом, и пьянствовать где-нибудь в другом месте, они могли передрались и убить друг друга, предоставив милиции возможность заподозрить в этом двойном убийстве нас. Они могли, наконец, забаррикадировать дверь и категорически отказаться нас впустить.

На этот последний случай у меня в портфеле лежала специально купленная бутылка водки. Предполагалось, что мы покажем ее старухе в окно и таким образом заслужим доверие.

Мы поднялись на крыльцо и постучали. За дверью было тихо. Мы постучали в окно. Ни звука. Мы колотили в дверь кулаками, а потом уже каблуками, стучали и в одно окно, и в другое, кричали, что у нас есть водка и что Петя заплатил за комнату и приказал нас впустить, напоминали старику, что дом на его имя и он имеет право нам открыть, даже если старуха противится. Дом молчал. Тогда Юра отдал мне свой портфель, с мрачным лицом взялся за ручку двери, напрягся и дернул ее изо всех сил. Мы все чуть не попадали с крыльца в грязь – с такой несоразмерной с Юриным напряжением легкостью дверь открылась. Она просто была не заперта. Мы вошли в захламленные сени и решили, что главным препятствием будет следующая дверь, из сеней на кухню. Но эта дверь тоже была открыта. Как будто старики за время нашего отсутствия покинули дом, оставив в нем только вещи, не имеющие никакой цены, которые не стоило брать с собою. Когда мы из кухни вошли в коридор, стал слышен какой-то неясный шум. Шум этот в довольно точном ритме нарастал, потом вдруг затихал, потом начинался снова и опять нарастал.

Мы прислушались. Шум исходил не из Петинной комнаты, а из другой, хозяйской, в которой мы еще не были. Сергей решительно открыл дверь в эту комнату. Только тогда мне стало ясно происхождение непонятного шума. Лежа в разных углах комнаты – старуха на кровати, старик – на узеньком диванчике, – храпели супруги Анохины. Это был богатырский храп. Особенно удивительные фиоритуры выделяла старуха. Прodelав определенный цикл с нарастаниями и спадами, она под конец почему-то присвистывала. Вероятнее всего, для того, чтобы отделить один цикл от следующего. Старик вел втору. Он храпел грубей и однообразней. Он не признавал особых тонкостей, но зато по мощности, пожалуй, старуху превосходил.

– Объяснение придется отложить, – сказал Сергей. – Пошли к Петьке.

Мы вошли в Петькину комнату. Здесь было все так, как мы оставили, кроме только того, что стаканы с вином были пусты. Допито было и вино, оставшееся в бутылке. Очевидно, после нашего ухода старуха на некоторое время пришла в себя и подкрепилась знаменитым напитком, предназначенным, как мы уже знаем, для иностранных послов.

Мы составили портфели на пол, усьелись рядом на Петькину кровать, положили ноги на стулья и спинами уперлись в стенку. Мы здорово устали за этот день. Не столько физически устали, не так уж много мы ходили, сколько от волнений и неприятных известий. Целый день были мы в напряжении. Сейчас мы сидели расслабившись. Не хотелось говорить, хотя тем для разговора вполне хватало. Слышно было, как монотонно, в несовпадающем ритме падали капли с дерева и с крыш, одни чаще, другие реже, одни звонче, другие глуше. И храп стариков Анохиных то нарастал до высоких нот, то стихал. Потом раздавался старухин разбойный посвист, и все начиналось заново. Как будто работала разболтанная старая машина, в которой уже изнашивалась каждая деталь, которая свистит, охает и кряхтит, но еще работает в каком-то хоть и замедленном, а все-таки ритме.

Я задремал, что-то вспомнил во сне и, вздрогнув, проснулся, услышал, что посапывает Юра и ровно дышит Сергей. Я снова начал задремывать. Я чувствовал, что засыпаю, и не хотел противиться сну и все-таки открывал глаза, потому что сидеть было неудобно и по-настоящему заснуть я никак не мог. Монотонно стихал и нарастал храп, монотонно капали капли. Я был на границе между бодрствованием и сном. Иногда я отчетливо понимал, где я сейчас нахожусь. Иногда виделась мне какие-то картины, будто из другого мира. За что-то меня отчитывал наш редактор, а я доказывал, что совершенно не виноват. Потом почему-то ворчал мой сосед по квартире, поглаживал усы и говорил, что нам надо, сложившись, произвести ремонт мест общего пользования. В этих местах общего пользования капала из кранов вода. И сквозь все эти путанные представления проступала комната, в которой мы сидим, мутные от пыли стекла окон, монотонный шум капель и такой же монотонный храп стариков. И вдруг появился какой-

то еще звук, прерывистый и негромкий. С трудом я открыл глаза и увидел, что в пыльное стекло окна тихо постукивает палец. Чья-то рука была видна в окне. Я вздрогнул и проснулся окончательно. К туманному стеклу прижалось чье-то лицо, чьи-то глаза всматривались в комнату и, наверное, за мутным стеклом не могли ничего разглядеть. Я открыл, совсем открыл глаза и ничего за окном не увидел. Но это не могло быть сном. Я тронул за руку Юру и Сергея. Они проснулись: Сергей сразу, а Юра что-то пробормотал, но потом тоже открыл глаза.

– Кто-то стучал в окно, – прошептал я, – и заглядывал в комнату.

Мы сидели молча, прислушиваясь. В старом доме всегда, если вслушаться, живут какие-то шумы: потрескивают половицы, возятся мыши. Мало ли что слышится в старом доме...

Но нет, что-то новое слышали мы, какие-то тихие, совсем тихие звуки. Что-то поскрипывало, потрескивало. Как будто дверь отворилась? Но нет, слишком тихо. Как будто бы шаги? Но нет, шаги человека тяжелее и громче. И все-таки шорохи приближались. Мы как замороженные смотрели на дверь. И вот медленно-медленно она начала отворяться. Мы этого ждали. Как ни тих, еле различим был шорох в коридоре, все-таки он уже был совсем близко. Мы это скорее чувствовали, чем слышали. Теперь мы видели, как медленно-медленно дверь движется. Она приотворилась немного, ровно настолько, чтоб можно было просунуть голову. И голова просунулась. И осмотрела комнату. Может быть, человек, который стоял за дверью, нас не увидел? Может быть, он подумал, что мы спим? Мы были совершенно неподвижны. Нет, нас, вероятно, выдали наши глаза, широко открытые, внимательно смотрящие на него. Тогда он спокойно открыл дверь и вошел. Не глядя, уверенно протянул руку к выключателю. Под потолком загорелась тусклая, пыльная лампочка.

– Здравствуйте, – сказал человек. – А Петуха, что же, дома нет?

Электрический свет будто расколдовал нас. Все стало ясно. Ничего, оказывается, необычного не происходило. Просто храпели старики, просто с крыши падали капли. Просто пришел к Пете приятель, стукнул сперва в окно, а когда никто на стук не отозвался, вошел в комнату и зажег свет.

Это был невысокий парень в синем плаще и кепочке набекрень. Черты лица у него были мелкие, носик остренький, небольшой, губы тонкие, светлые маленькие глаза. И все-таки, не знаю почему, чувствовалось, что человек он сильный и, коли придется подраться, долго раздумывать не будет. Хотя руки у него и были маленькие, с короткими пальцами, но очень легко было себе представить эти руки сжатыми в кулаки, беспощадно бьющими человека, наносящими стремительные удары в лицо, в нос, в глаза.

– А вам какого Петуха? – спокойно спросил Сергей. – Один вон храпит в той комнате.

– Нет, – усмехнулся маленький человек, – мне моего дружка Петю. Мы с ним сегодня на танцы пойти условились. Скоро уж клуб закроют, потанцевать не успеем.

Мы с Юрой молчали. Следовало этому парню врать. Мы не могли ему сказать, что Петя уехал неизвестно куда и, может быть, совсем уехал. Врать лучше одному. Наверное, Сергей уже придумал, что говорить, во всяком случае, вид у него был уверенный и спокойный.

– Да вот мы тоже его поджидаем, – сказал он. – Приехали из С. повидаться, да не застали. Придет, наверное. Куда он денется!

– Так... – сказал парень. – А вы что же, дружки его?

– Вместе в детском доме были, – равнодушно ответил Сергей.

– А-а-а, – протянул парень, внимательно оглядывая нас, – слышал, слышал, что есть у него в С. друзья.

Сергей не проявлял никакого интереса к разговору, он даже зевнул лениво и сонно. А парень, наоборот, был заинтересован.

– А он ждал, что вы придете, или вы так, неожиданно, нежданно-негаданно?

– Взяли да и приехали, – сказал Сергей.

– Надолго? – спросил парень.

– Как дела задержат, дня на два, может, на три.

– Так... – Парень кивнул головой. – Ну, поджидайте своего дружка, а если придет, скажите, что я был.

– А вас как, извините, зовут? – спросил я.

– Паша меня зовут. Да он знает. Мы с ним условились.

– А фамилия? – настаивал я. – Чтобы не ошибиться.

– Фамилия? – пожал плечами парень. – Зачем вам фамилия? А впрочем, секрета тут нет. Гавриков, Паша Гавриков. Когда Петя придет, вы ему передайте. Скажите, что я до двенадцати буду ждать где условились. На танцах.

Парень кивнул, очень, впрочем, небрежно, и вышел. Теперь мы отчетливо слышали его шаги по коридору и скрип двери, которую он открыл. А потом слышали, как резко хлопнула дверь из сеней на улицу.

Сергей вскочил, быстро добежал до выключателя, погасил свет и бросился к окну. Я тоже подошел к окну. Парень шел по улице, скользя по липкой грязи. Он посмотрел на окна Петиной комнаты. Нас он сквозь пыльное стекло, наверное, не видел. Мы стояли немного в стороне, не хотели показывать, что он нас интересуется. Впрочем, то, что в комнате погасили свет, это-то ему было прекрасно видно. Значит, мог он и предполагать, что погасили мы свет, чтобы понаблюдать за ним. Он шел уверенно, не оборачиваясь. Руки он засунул в карманы и, кажется, насвистывал. А может быть, нам казалось. Через стекла было плохо слышно.

Во всяком случае, вид у него был равнодушный и независимый. Как будто бы он хотел показать, что ничего важного: зашел, мол, к приятелю, думал пойти с ним потанцевать, да не застал; ну, пойду и один на танцы.

– Что-то мне кажется, что его фамилия не Гавриков, а Клятов, – сказал Сергей, – и не на танцы собирались они с Петей идти.

## Глава восьмая

### Долгая ночь кончается неожиданно

Когда Гавриков, или Клятов, исчез, мы долго еще стояли у окна и смотрели на мертвую улицу. Дождь наконец перестал, но с крыш и деревьев продолжало капать. Где-то под половицами скреблась мышь. Старый дом был полон звуков. Что-то шуршало за обоями, тараканы или еще какая-нибудь нечисть. Иногда трещали доски. Дом гнил, рассыхался, растрескивался. Да, конечно, именно в таких старых домах зародилась легенда о домовых, злых или добрых, которые хозяйничают тогда, когда все в доме спит.

– Давайте, ребята, поспим немного, – пробормотал Юра сонным голосом.

Мы сели на кровать. Спать мне хотелось ужасно, прямо глаза слипались. Но, как только я начинал засыпать, кто-то словно толкал меня. Я открывал глаза и не сразу понимал, где я и что это за ужасная комната. Вспомнив все, я снова начинал засыпать. И снова будто кто-то меня будил. Я поднимал голову и озирался. Все было по-прежнему. Ничего, кажется, не случилось. Это тревога не оставляла меня в покое, это тревога не давала мне спать и будила меня. Тревожная явь мешалась с тревожными снами. Я видел во сне, как маленький кулак Гаврикова стремительно бил кого-то в лицо. По избитому лицу текла кровь. Слышалось мне во сне, что кто-то рыдал надрывно и горько. И снова метался я и приходил в себя и снова видел ту же комнату и слышал: храпят Анохины, скребется мышь, тараканы шуршат за обоями.

Один раз, проснувшись, я почувствовал: что-то изменилось. Я испуганно огляделся. Кто-то возился в углу, сидя на корточках. У меня заколотилось сердце. Не сразу я сообразил, что Сергея нет на кровати.

Было почти совсем темно. Только тусклый лунный свет, с трудом пробившись сквозь облака, еле проникал в комнату через пыльные стекла.

– Сережа, – шепотом позвал я.

– Тише, – так же шепотом ответил человек, сидевший в углу на корточках.

Он выпрямился, и только теперь я разглядел, что это действительно был Сергей.

– Ты что? – шепотом спросил я.

– Иди сюда, – так же шепотом сказал он.

Не знаю, почему мы оба говорили шепотом. Стариков разбудить было невозможно, а больше никто не мог нас услышать. Просто в той атмосфере, которой дышал этот дом, обоими нами владело ощущение, что надо таиться. Будто всякое слово, сказанное громко, могло быть услышано, могло вызвать к действию какие-то страшные, неведомые нам силы.

Я вскочил и подошел к Сергею. Сергей держал в руке скомканный листик бумаги. Он расправил его и вгляделся, стараясь прочесть написанные карандашом неразборчивые буквы.

– Понимаешь, – объяснил он шепотом, – я все соображаю, куда все-таки Петька мог уехать? Я подумал, может, сохранилась какая-нибудь запись? Осмотрел комнату, смотрю, в углу мусор. Под веником нашел бумажку. Тут что-то написано. У тебя спички есть?

Так же, как нельзя объяснить, почему мы говорили шепотом, непонятно и то, почему мы не зажгли электричество. Видно, здорово были у нас напряжены нервы. Видно, владело нами желание быть настороже, избежать какой-то нам самим непонятной угрозы.

Я зажег спичку. Сблизив головы, мы наклонились над бумажкой. Две буквы «К» были написаны наверху и подчеркнуты. Потом было написано «Новг» и стояла точка. Потом было написано подряд три буквы – «ВЛД», и потом, отдельно, через тире, – «р-н». Потом было написано «Едрово», и отдельно внизу: адрес Кости.

– Как Тоня его назвала? – спросил Сергей.

– Костя Коробейников, – сказал я, – КК, а Новг. – это, конечно, Новгородская область, это тоже она говорила.

- А Едрово? – спросил Сергей.
- По-моему, Радищев ехал через Едрово.
- Какой Радищев?
- Тот самый. «Путешествие из Петербурга в Москву».
- Тогда, может быть, ВЛД – Валдай?
- Может быть. Это, кажется, где-то близко.

Мы шептались, склонив друг к другу головы. Юра сладко посапывал во сне. Я вдруг подумал, что мы, точно малые дети, поддаемся влиянию старого дома, пустынной Ямы, по которой через год или два пролягут асфальтированные улицы и встанут рядами высокие современные дома. Чепуха какая-то!

- Почему мы говорим шепотом? – громко сказал я.
- Сергей ничего не ответил. Отвечать и не надо было.

Я и сам почувствовал, что спорь не спорь, а нормальный, громкий человеческий голос здесь звучит неестественно, нарушает тишину, свойственную этому пустынному, мертвому месту. Здесь было естественно говорить шепотом или, во всяком случае, приглушенно.

Очевидно, Сергей тоже чувствовал это. Он подумал и сказал по-прежнему шепотом:

– Надо, вероятно, лететь до Москвы. Может быть, оттуда есть прямой поезд до Новгорода.

– А может быть, лететь лучше до Ленинграда? – сказал я, снова вернувшись к шепоту. – Новгород – это где-то близко от Ленинграда.

Сергей вынул из кармана записную книжку и аккуратно вложил в нее кусочек бумаги с этим полушифрованным адресом.

- Давай вздремнем, – сказал я. – Надо хоть немного поспать.

Пока мы шептались, Юра, так и не проснувшись, спокойно раскинулся на кровати. Мы пытались его растолкать, чтобы объяснить ему, что на этой кровати должны спать трое, а не один, но разбудить его нам не удалось. Сережа взял его за ноги, а я за плечи, и мы, не особенно деликатничая, усадили его. Он никак на это не реагировал. Только пробормотал что-то, что, очевидно, относилось не к нам, а к каким-то людям, с которыми в это самое время он во сне вел какие-то разговоры. Минуты не прошло, и, примирившись с насилием, он продолжал спокойно посапывать.

- Здоров спать, – сказал Сергей, и мы с ним уселись на освободившиеся места.

И снова потянулась ночь. Снова я то задремывал, то просыпался и каждый раз, просыпаясь, видел, что становится светлее. Ночь перевалила за середину. Облака разошлись, и от этого быстрее светало. Я подумал, что если бы Яма была еще жива, наверное, сейчас начали бы перекликаться петухи. Но по-прежнему было тихо. Видно, ни одного петуха здесь уже не осталось. Все реже и реже падали капли. День обещал быть солнечным. Анохины поутихли. Старик, видно, повернулся на другой бок, и его не было слышно. Старуха еще посвистывала, но тоже будто потише. Вместе с полутьмой летней северной ночи рассеивалось то чувство тревоги и тайной опасности, которое заставляло нас с Сережей шептаться. Перестала скрестись мышь. Перестали шуршать за обоями тараканы. Я находился в старом доме, который скоро снесут, в районе, по которому скоро будут проложены новые улицы, который осветят высокие фонари с лампами дневного света. Ничего таинственного не было ни в районе, ни в доме. Ничего мрачного не предвещало потрескивание и покряхтывание дома, притихший храп стариков Анохиных. Плохо было, конечно, с Петром. Ну что ж, неужели мы трое не приведем его в порядок?! Я стал думать о том, как мы его разыщем, объясним ему, что нечего от нас прятаться. Как привезем мы его в С., получит он комнату, ну, не сразу, хоть через год, через полтора, вызовет Тоню с Володькой, и тогда уже все вместе отпразднуем общий наш день рождения.

Так все это представлялось мне ясно, таким все это казалось мне благополучным, радостным и спокойным, что я наконец окончательно и крепко заснул.

И все-таки беспокойно я спал. Снились мне быстро сменявшие друг друга сны. Опухший, опустившийся Петька стоял, прижавшись к бетонным панелям, сложенным на пустыре. Володька прыгал в своем манежике. По мертвым улицам Ямы бегала черная кошка. Кто-то тряс меня за плечо. Много еще было разного, чего я и не помню. Но что бы я ни видел, какие бы разные, не связанные между собой представления ни менялись в этом бесконечно мелькающем сне, все пронизывала, через все проникала горькая, почти физически ощущаемая мною тоска.

И снова кто-то тряс меня за плечо. И почему-то я не хотел просыпаться. Я цеплялся за эти быстро сменявшиеся видения потому, что все надеялся увидеть что-то радостное, что непременно, я это хорошо знал, должно было мне представиться. И тогда, я это тоже знал, меня отпустит тоска и все станет хорошо.

Но меня неумолимо трясли за плечо. И, цепляясь за сон, я все-таки вынужден был с ним расстаться. Я открыл глаза и увидел, ничего еще не понимая, комнату, тускло освещенную солнцем, с трудом пробивавшимся через пыльное стекло, Сережу и Юру, стоявших с ничего не выражавшими лицами, и милиционера, наклонившегося надо мной. Это он, милиционер, настойчиво будил меня.

Я удивленно смотрел, не понимая, откуда и зачем он появился и какое он занимает место в быстро меняющемся потоке сновидений.

– Проснитесь, проснитесь, гражданин, – говорил милиционер.

И только услыша его голос, я понял: сновидения кончились, я уже в другом, реальном, мире.

Я не знал, что произошло, но чувство тоски, преследовавшее меня во сне, с новой силой на меня навалилось.

– Ваши документы, гражданин, – сказал милиционер, который тряс меня за плечо.

Я достал бумажник. Вынул паспорт и военный билет, потом вытащил корреспондентское удостоверение и все это протянул милиционеру. Он не торопясь открыл паспорт, прочел первую страницу. Потом полистал, наверное, искал прописку, и все, что написано в штампе прописки, тоже прочел, с начала и до конца. Потом он так же внимательно просмотрел военный билет, потом прочел корреспондентское удостоверение и, ни к кому не обращаясь, сказал, что оно действительно по первое сентября. Я почувствовал себя виноватым, хотя великолепно знал, что здесь я не в газетной командировке и что продлить удостоверение мне ничего не стоит, да и редакция на любой запрос ответит, что действительно я штатный сотрудник газеты «Уралец». Но все же я чувствовал себя виноватым.

Да, это было бы несущественно в обычное время, но сейчас, в присутствии милиционера, эта ерунда приобретала важный смысл. Хотя милиционер не сделал из этого никаких выводов, а просто отметил для себя этот факт, мне стало перед ним неловко. Почему-то хотелось, чтобы все документы были в абсолютном порядке. Хотелось щегольнуть строгим соблюдением законов и правил. Чувство мое было схоже с чувством человека, переходящего перекресток под внимательным взглядом постового. Такой прохожий обычно не просто переходит улицу, а переходит ее, можно сказать, показательно. Он смотрит сначала налево, потом, как написано на плакатах, направо и идет совершенно прямо, ни на шаг не отступая от впаивных в асфальт бляшек, всем видом своим показывая, что он точно выполняет установления и может считаться не просто пешеходом, но пешеходом в некотором смысле образцовым.

Впрочем, милиционер, повторяю, не придавал значения тому, что удостоверение просрочено, и молча вернул мне документы.

Кроме Сергея и Юры, кроме того милиционера, который тряс меня за плечо, есть еще в комнате второй милиционер, стоящий у двери, и человек в синем костюме, который почему-то держит в руках мой портфель.

– Покажите, что в вашем портфеле, – говорит этот человек.

То ли застешки почему-то заело, то ли у меня дрожат руки, но я никак не могу его открыть. Я понимаю, что это ужасно. Могут подумать, что я нарочно. Что я спекулянт или грабитель, что портфель набит бриллиантами.

Я волнуюсь. Все сильнее дрожат руки, и вдруг... он наконец открылся. Я достаю трусы, рубашку, электробритву, блокнот, который по привычке я взял с собой. Человек в синем костюме перелистывает блокнот и тщательно осматривает с двух сторон каждый листок. Я не тороплю его. Теперь в портфеле осталась только проклятая бутылка водки, приготовленная, чтобы соблазнять старуху, если она нас не пустит в дом.

Сгорая от стыда, я вытаскиваю эту бутылку, но человек в синем костюме не обращает, кажется, на нее внимания. Он возвращает мне все обратно. Я складываю имущество; оно как будто разбухло и не влезает. Я впикиваю его кое-как. Теперь портфель не хочет закрываться, но моя собранность и воля побеждают его упрямство. Застешки щелкают, и я успокаиваюсь.

Во всем происходящем, в сущности говоря, нет ничего страшного. Естественно, что Яма, из которой выселены почти все жители, может служить местом, где скрываются темные люди. Да и у стариков Анохиных – я только теперь расслышал, что храп в их комнате прекратился, – вряд ли безупречная репутация. Стало быть, совершенно естественно, что милиция держит всю Яму, и в частности этот дом, под наблюдением. Я начал понимать, что дело не так просто, только тогда, когда человек в синем костюме сказал ничего не выражавшим голосом:

– Мы, товарищи, сейчас с вами проедем в городское управление милиции. Наши работники хотят с вами побеседовать.

Право же, ни в чем не был я виноват. Право же, отлично я понимал, что ничего плохого с нами тремя произойти не может. И все-таки мне стало неприятно и захотелось оправдываться. Не в чем-нибудь определенном, потому что вины за собой я никакой не знал, а вообще оправдываться. Доказывать, что я точно соблюдаю законы и заслуживаю полного доверия. Тут же мне стало смешно. Я подумал, что похож на того хорошего мальчика в классе, который держит руки на парте, на виду, для того чтобы учитель не подумал, что это он пустил в товарища шарик из бумаги, который на самом деле пустил другой, гадкий, мальчик.

Я глупо и жизнерадостно улыбнулся и, страшно смутившись, пробормотал что-то вроде того, что и мы с этими товарищами с удовольствием побеседуем. Человек в синем пиджаке посмотрел на меня с удивлением, но ничего не сказал и только рукой указал на дверь.

Взяв свои портфели, мы все трое гуськом вышли из комнаты. В коридоре стоял еще один милиционер, и я подумал: «что-то слишком много народу для обычной проверки документов». В сенях был тоже милиционер. А когда мы вышли на крыльцо, то увидели, что перед домом стоит закрытая милицейская машина, известная во всех городах страны под выразительным названием «раковая шейка».

Оставшиеся еще в Яме жители собрались возле этой машины. Тут была женщина, которая попала нам навстречу с пустыми ведрами, и какой-то старик, весьма благообразный, смотревший на нас с осуждением, предполагая, по-видимому, что мы являемся крупной межобластной шайкой мошенников, пойманной наконец милицией, и портфели носим только для того, чтобы внушать честным людям доверие.

Еще человек пять стояли вокруг. Я их не разглядел. Я и в самом деле чувствовал себя мошенником и старался не встречаться с осуждающими взглядами честных советских людей. Мы погрузились в «раковую шейку». Тут уже сидели, очевидно, разбуженные раньше нас, старики Анохины. Старик не обратил на нас никакого внимания, а старуха улыбнулась ласковой, сладкой улыбкой, стараясь, видно, показать, что мы старые знакомые и прекрасно друг друга знаем. С нами сел и милиционер, который молчал всю дорогу. Мы все тоже молчали. Я не знаю, полагается ли разговаривать между собой подозреваемым людям, но так как мы, очевидно, были подозреваемыми, то на всякий случай молчали, чтобы как-нибудь не нарушить правила.



## Глава девятая

### Разговоры в милиции

Мы въезжаем во двор серого кирпичного дома. Я в первый раз в жизни чувствую себя преступником. Не могу сказать, что это приятное чувство. Я, конечно, знаю, что не крал и не убивал, но почему-то мне вспоминаются все судебные ошибки, о которых я слышал. Действительно, застали нас в каком-то темном месте. Я стараюсь взглянуть на обстоятельства дела глазами следователя и сам себе представляюсь субъектом очень подозрительным. «Ну и что же, – рассуждаю я, – что меня никогда еще не привлекали к суду. Все преступники когда-нибудь совершали преступление в первый раз. Я, правда, начал довольно поздно. Может быть, у меня замедленное развитие, и поэтому я вступил на путь преступности позже, чем большинство». Я гоню от себя эти мысли. Я издеваюсь сам над собой. Я убеждаю себя, что, конечно, внимательный и чуткий следователь – а судя по литературе, они все внимательные и чуткие – без труда разберется в деле, отделит овец от козлиц и меня, невинную овцу, торжественно отправит домой, пожелав успеха в труде и личной жизни.

И все-таки настроение у меня преотвратительное. И веду я себя почему-то именно так, как ведут себя самые что ни на есть опытные преступники.

То я чувствую, что у меня вид оскорбленной невинности, и понимаю, что как раз такой вид принимают при задержании настоящие грабители и убийцы. То появляется у меня на лице улыбка, которой мог улыбнуться честный газетчик, задержанный по ошибке и знающий, что ему ничего не стоит доказать свою невиновность. Я тут же соображаю, что у этого газетчика была бы именно такая улыбка, даже если бы он только что зарезал целую семью. Лицо мое как-то инстинктивно, независимо, кажется, от моего сознания, принимает самые разнообразные выражения, а мое сознание сразу бракует их как явно подозрительные. Поэтому, если посмотреть со стороны, лицо мое непрерывно меняется, как будто у меня очень сложный нервный тик. Я понимаю, что этот «ряд волшебных изменений» очень подозрителен, но ничего не могу с собой сделать.

Так, непрерывно изменяясь, я и вхожу в кабинет следователя. Сергея и Юру уводят куда-то в другое место – мне не видно куда. Я знаю по литературе, что следователь должен мне сейчас предложить папиросу, и торопливо соображаю, что будет менее подозрительно: если я закурю или если поблагодарю и откажусь. Но следователь почему-то не предлагает папиросы, что очень странно, потому что противоречит накопленному за многие годы опыту советской детективной литературы.

Стариков Анохиных отделили от нас еще в коридоре и увели в какой-то другой кабинет. Это меня обрадовало. «Очевидно, – подумал я, – уже разобрались, что мы не такие подонки, как они, и замешались в эту историю случайно». Потом я с ужасом вспоминаю про бутылку водки и стремительно лечу в бездну отчаяния. Ясно, что в глазах следователя я выгляжу алкоголиком, приготовившим наутро опохмелку. «Где алкоголизм, там и преступление», – с горечью думаю я.

За письменным столом сидит человек в милицейской форме с лейтенантскими погонами. Он опять проверяет мои документы, расспрашивает меня, как я и мои друзья оказались у Анохиных, давно ли мы знаем Петю, почему мы к нему приехали и почему, не застав его, все-таки у него остались?

Он слушает меня и заполняет протокол допроса.

То, что каждое мое слово записывается, заставляет предполагать, что дело серьезное. Мне не положено спрашивать лейтенанта – это я понимаю, но меня мучает мысль, что же такое произошло. Я перебираю в голове всякие возможности: поножовщину, хулиганство, даже

убийство в драке, и все-таки то, что нам сообщают потом, когда допрос уже кончен, оказывается страшной моих самых страшных предположений.

Я рассказываю и о детском доме, и об Афанасии Семеновиче, и об экзаменах, и о девяти годах, и о 7 сентября. Я рассказываю о Петином письме и о том, как старуха нам его не передала, а старик продал за четвертинку. Письмо интересует лейтенанта милиции. Оно у меня, и я охотно его показываю. Лейтенант милиции нажимает на кнопку звонка, входит рядовой милиционер и уносит Петино письмо. Я начинаю волноваться и говорить, что это письмо нашего друга и мы хотим его сохранить. Лейтенант успокаивает меня и говорит, что нам письмо отдадут.

Потом лейтенант спрашивает:

– Скажите, а что, по-вашему, Груздев имеет в виду, когда пишет, что телеграмма пришла как раз в тот момент, когда он решился потерять остатки совести?

Я смотрю на лейтенанта и моргаю глазами. Честно сказать, меня этот вопрос ошарашивает.

– Не знаю, – говорю я, – мы на это не обратили внимания.

Мысли у меня в голове начинают вертеться с невероятной быстротой. «Остатки совести», – думаю я. Может быть, действительно имеется в виду преступление. А может быть, все гораздо проще и речь идет о какой-нибудь ерунде. Например, он собирался попросить у Тони денег, зная, что не отдаст.

Я долго молчу. Лейтенант меня не торопит.

– Но ведь он пишет, – наконец говорю я, – что опомнился благодаря телеграмме.

– Да, – соглашается лейтенант, – но все-таки как же он собирался потерять остатки совести?

И опять я молчу. Я просто не могу понять, почему мы не придали значения этой фразе? Может быть, потому, что были слишком оглушены всем содержанием письма? Может быть, потому, что знали Петю и не могли подозревать его в преступлении? Все-таки опуститься и пьянствовать – это одно, а стать преступником – это совсем другое. Но почему я, собственно, думаю, что Петька стал преступником? Какие у меня основания? Может быть, за домом Анохиных следили по совершенно другим причинам. Старуха, может быть, сбывала краденое или спекулировала. А Петька просто уехал в Клягино, к Афанасию Семеновичу.

Наконец, я говорю решительно, что ничего не могу предположить насчет этой фразы и что смысл ее мне неясен.

Лейтенант молча записывает мое показание, потом достает пачку фотографий и раскладывает их по столу.

– Посмотрите, пожалуйста, эти фотографии, – говорит он.

Я склоняюсь над столом. На всех фотографиях молодые парни. Лица очень разные. Один с какими-то дурацкими баками необычайной формы. У другого тонкие усики на верхней губе.

– Знакомого вам человека здесь нет? – спрашивает лейтенант.

Одно лицо мне кажется знакомым. Это парень с тонкими губами, с остреньким носиком, с маленькими светлыми глазами.

Я показываю на эту фотографию.

– Вот Гавриков, – говорю я, – он вчера вечером приходил.

– Гавриков? – спрашивает лейтенант.

– Может быть, Клятов, – говорю я.

– А почему вы думаете, что он Гавриков или что он Клятов?

Я рассказываю о вчерашнем визите этого парня, о том, как он назвал себя Гавриковым и как мы подумали, что, может быть, на самом деле он Клятов, потому что старик Анохин сказал нам, что днем раньше Петя занял у какого-то Клятова деньги и заплатил за комнату.

– Сколько денег взял Груздев у Клятова, не знаете? – спрашивает лейтенант.

Я знаю только, что за комнату Петя отдал двадцать рублей. А сколько вообще взял, понятия не имею.

И тут я произношу убедительную речь в защиту Пети. Я начинаю спокойно. Я говорю, что, может быть, Петя связался с очень плохими людьми. Нам вчера этот Гавриков, или Клятов, очень не понравился. Может быть, среди его приятелей были и уголовники. Но я, да и мы все трое, знаем Петю с детства и готовы за него поручиться. Пусть он человек слабый. Может быть, он стал пьяницей, но преступником он стать не мог. Дальше я ссылаюсь на Петино письмо. Разве такое письмо преступник мог бы написать? Чепуха! Человек мучается оттого, что опустил. Стесняется показаться своим друзьям. Значит, он не только не потерял совести, а, наоборот, совесть его мучает все время. Наконец, он, правда, пишет, что решил потерять остатки совести, но тут же пишет, что вовремя опомнился.

– А куда он мог уехать? – спрашивает лейтенант милиции.

И по тону его должно быть ясно, что это совершенно неважно и спрашивает он об этом просто так, потому что к слову пришлось.

И сразу я понимаю: это, наоборот, очень важно. Поэтому нас и привезли сюда. Поэтому с нами и разговаривают и тратят на нас время, которого, видимо, сейчас немного у этого лейтенанта и его товарищей.

– Мы сами все время об этом думаем, – говорю я. – Нам обязательно нужно его найти. Мы вчера позвонили в С., чтоб нам дали отпуск и выслали деньги. Мы хотим поехать к нему. Понимаете, ему нужно вернуть веру в себя. А то что же это такое: человек раскис, считает, что все для него потеряно...

– И куда же вы думаете ехать к нему? – спрашивает совсем равнодушно лейтенант милиции. – Раз вы взяли отпуск и деньги выписали, значит, вы знаете куда?

– В Клягино, к Афанасию Семеновичу, – говорю я, – по-моему, больше ему ехать некуда.

Лейтенант долго пишет. Я прошу разрешения закурить. Разрешение получаю и курю с таким видом, будто меня совсем не занимает, что пишет лейтенант.

Наконец лейтенант, дописав протокол до конца, дает мне прочесть его.

Я читаю внимательно. Да, все точно так, как я говорил, но в то же время не совсем так. Факты точны, а что-то ушло и пропало. Я понимаю, что не в силах никакой протокол передать мою уверенность в том, что не мог Петя совершить преступление. Если и была пьяная драка, то, конечно, надо его наказать, но наказать, помня, что он человек хороший, что он только споткнулся и обязательно станет на ноги.

Но факты изложены точно. Спорить не о чем. Я подписываю протокол в тех местах, которые указывает лейтенант, и думаю, что, поскольку допрос, по-видимому, окончен, я имею право спросить, что совершил Петя, в чем, собственно, его обвиняют.

Но лейтенант встает и говорит:

– Пойдемте со мной.

Мы идем по коридору, и я вижу, что из комнаты в конце коридора выходит другой лейтенант и с ним Юра, у которого недоступно строгий вид и очень серьезные, даже испуганные глаза. Мы проходим друг мимо друга, делая вид, что друг друга в первый раз видим. Почему мы считаем нужным скрывать наши отношения, я не знаю. Вероятно, исходя из предположения, что здесь, в милиции, существуют какие-то особенные правила поведения. Так как эти правила вам неизвестны, то лучше не делать ничего сверх того, что наверняка позволено.

Итак, мы расходимся с каменными лицами, и я даже не решаюсь оглянуться и посмотреть, куда пошел Юра со своим лейтенантом. Впрочем, я и не успел бы это, наверное, сделать. Мой лейтенант открывает дверь той самой комнаты, из которой только что вышел Юра, и просит меня зайти. Я захожу. Лейтенант тоже заходит и закрывает дверь.

В комнате письменный стол, сидит еще один лейтенант, но не за письменным столом, а на стуле у стенки. На двух других стульях рядом с ним сидят мужчина в штатском и женщина...

Про женщину как-то неудобно сказать «в штатском». Какая-то женщина в обыкновенном черном пальто.

Мой лейтенант садится за стол. Я сажусь с другой стороны стола, не понимая, что тут будет происходить. Лейтенант опять достает бланки допроса и начинает снова спрашивать мое имя, отчество, фамилию, год рождения, место работы...

– Вы же меня спрашивали об этом! – говорю я, возмущенный этим проявлением, с моей точки зрения, бюрократизма.

Лейтенант объясняет, что следует все это повторить для понятых. Я соображаю, что мужчина и женщина, сидящие в стороне, – это и есть понятые, и начинаю добросовестно отвечать на вопросы.

Итак, я повторяю снова свои анкетные данные. Закончив записывать их, лейтенант достает из ящика стола и показывает мне зажигалку.

– Скажите, – спрашивает лейтенант, – вам эта зажигалка знакома?

Изображенный на зажигалке человек целится в кого-то из пистолета. Лейтенант то поднимает ее вертикально, то опускает в горизонтальное положение. Лицо человека то закрывает черная маска, то маска исчезает.

– Это Петькина зажигалка! – радостно говорю я.

– Петра Груздева? – переспрашивает лейтенант.

– Да, да, да, – подтверждаю я и рассказываю, как мы подарили эту зажигалку Петьке девять лет назад, когда провожали его сюда, в этот город, когда, казалось, все складывается прекрасно и всем предстоит счастливая судьба, и ничего страшного будущее не сулит, а сулит только счастье, только успехи, только вечную дружбу...

Казалось бы, сейчас радоваться нечему. По крайней мере, одного из нас судьба обманула. Но эта зажигалка возвращает меня в прошлое, и мне снова кажется, что мы еще только открываем чистую книгу жизни, не испорченную горестными и стыдными записями.

Потом я замолкаю. Я вспоминаю о том, что у нашего друга Петьки стыдных и горестных записей очень много, что, вероятно, плохие дела натворил он, если меня так подробно допрашивают, если быстро бежит по бумаге перо лейтенанта, записывая каждый мой ответ.

Потом я читаю протокол и расписываюсь на каждой странице, потом читает протокол женщина и тоже расписывается. Наконец, последним расписывается мужчина, и на этом дело кончается. Мы с лейтенантом выходим. Навстречу нам идет по коридору Сережа с тем лейтенантом, с которым недавно шел Юра. Мы с Сережей тоже делаем вид, что в первый раз в жизни встретились друг с другом. Мой лейтенант подводит меня к скамейке, на которой сидит Юра, просит подождать и уходит в дверь напротив.

Мы с Юрой сидим и даже не смотрим друг на друга, чтобы не нарушить какие-нибудь правила. Потом я решаю, что раз нас посадили рядом и оставили одних, значит, имели в виду возможность, что мы поговорим друг с другом.

– О чем тебя спрашивали? – начинаю я разговор, но Юра смотрит на меня зверскими глазами, и я понимаю, что он считает мой вопрос серьезным нарушением закона.

Я замолкаю. Мне очень хочется курить, но не у кого спросить, можно ли курить в коридоре.

В это время открывается дверь, и в коридор выходит Тоня. У нее очень испуганные глаза. Она смотрит на нас и, кажется, не узнает. Мы оба встаем. Только тогда она вспоминает, кто мы такие, торопливо подходит к нам и, не здороваясь, говорит приглушенно и быстро:

– Не верьте, ничему не верьте! Этого быть не может. Я ручаюсь, что этого не было!

Мы стоим растерянные, не зная, чему мы не должны верить.

Тоня быстро идет дальше по коридору, не попрощавшись с нами, ничего нам не объяснив. Я смотрю ей вслед и вижу, что она сутулится, что она как-то неровно идет. У меня мелькает мысль: «Не упала бы она». Но она скрывается за поворотом коридора.

Наконец в другом конце коридора появляется Сергей с бывшим Юриным лейтенантом. Теперь уже, очевидно, это лейтенант Сережин. Они доходят до нашей скамейки, и Юрин-Сережин лейтенант говорит:

– Вас хочет видеть начальник, пройдемте к нему.

Начальник сидит, оказывается, в том самом кабинете, из которого вышла Тоня.

Это майор милиции. Мы быстро поднимаемся по лестнице званий! Он просит нас сесть. Долго смотрит на нас и говорит:

– Я хочу ввести вас в курс дела: ночью сегодня ограблена квартира инженера Никитушкина. Это очень уважаемый в городе человек. Он здесь проработал больше тридцати лет. Теперь он на пенсии. Его жена пыталась позвать на помощь. Они живут в отдельном домике за городом. Грабители убили ее. Инженер Никитушкин в тяжелом состоянии в больнице. В одном из грабителей он опознал Клятова. Того самого, который вчера приходил к Груздеву. Лица второго грабителя он не разглядел. Есть серьезные основания предполагать, что вторым был ваш друг – Груздев Петр Семенович. Тем более что на месте преступления найдена зажимка, которую вы опознали, подтвердив, что она принадлежит Петру Груздеву. Добавлю, что скрылись оба: и Клятов, и второй, может быть, Груздев.

Мы сидим ошеломленные. Все можно было предполагать. Но предположить, что Петька – убийца, совершенно невозможно. Не знаю, как Юра и Сергей, но я даже ни о чем не думаю. У меня в голове пляшет дикий хоровод мыслей. Майор, нагнувшись к нам, говорит очень серьезно и значительно:

– Вы ничего не можете добавить к вашим показаниям?

Я смотрю на Сергея. Сергей, помолчав, пожимает плечами. Юра, кажется, совершенно растерялся. Пожимаю плечами и я.

После этого нам отдают Петино письмо – его, очевидно, сфотографировали – и отпускают нас.

Мы выходим на улицу, долго не понимая, куда и зачем идем. Наконец Сергей останавливается и говорит:

– Пойдемте на реку. Может быть, там есть спокойное место. Надо поговорить.

## Глава десятая

### Разговор на холме

Речка в городе узенькая и мелкая. Все-таки по берегам устроены набережные.

Мы шагали молча. Набережная кончилась, пошли поросшие травой откосы. Мы взобрались на вершину невысокого холма. Здесь стояла скамейка. Ее, вероятно, поставили специально, чтобы люди отсюда любовались рекою и городом. Вид и в самом деле довольно красивый. Я, впрочем, в тот день его не рассмотрел как следует.

Мы сели и долго молчали.

Начал разговор Юра.

– Не могу себе представить Петьку, который убивает беззащитную, старую женщину, – тоскливо сказал он.

Я ждал, что он скажет еще что-нибудь, но он молчал. Он неподвижными глазами смотрел на речку, медленно текущую меж поросшими травой берегами, и, наверное, не видел ни речки, ни берегов. Наверное, он представлял себе эту старую женщину и отвратительные сцены, которые происходили прошлой ночью в домике за городом, где проработавшие всю жизнь старики собирались пожить на покое последние годы.

– Нет, не могу, – сказал он наконец. Его даже всего передернуло.

Я чувствовал себя безумно усталым. Вряд ли усталость эта была от беспокойного сна. Сколько раз приходилось мне не спать ночь напролет и в университете, и на работе в последние годы. Вымоешься утром холодной водой, и как рукой снимет усталость. А сейчас не хотелось ни разговаривать, ни даже думать. Я чувствовал себя совершенно неспособным принимать ответственные решения, обсуждать их, отстаивать свою точку зрения. Я хотел просто, чтобы ничего не произошло. Чтобы не было этого убийства и этих отвратительных Анохиных, чтобы в Яме уже были выстроены новые дома. Пусть бы не приходила Нине в голову дурацкая мысль ехать нам к Петьке праздновать день рождения...

Позже, когда я вспоминал свое состояние, мне было стыдно за мои тогдашние мысли. Я тогда все за себя огорчился. Что вот приходится мне участвовать в этой отвратительной и страшной истории. Что вот, мол, как было бы хорошо, если бы все это случилось в мое отсутствие и я никогда ничего об этом бы не узнал. Между тем очень скоро мне пришлось вспомнить, что речь идет не обо мне, а о Петьке, что нам троим многое надо решить. Мне напомнил об этом Сергей.

– А ты как думаешь? – спросил он меня.

Я только пожал плечами в ответ. Мне хотелось вообще ничего не думать.

– Итак, дорогие братики, – сказал Сергей, – поскольку нас из милиции отпустили, мы сейчас срочно едем на вокзал, берем билеты на первый поезд в С., и пусть Петька выпутывается из этой истории как хочет. Так, что ли?

– Не понимаю тебя, – сказал Юра, – что же мы еще можем сделать?

– Ух, тюлени, – у Сергея от негодования даже голос стал сиплым, – где вас воспитывали!

– Не понимаю тебя, – повторил Юра, – ты считаешь своим другом человека, пошедшего на грабеж и убившего старую, беспомощную женщину?

– Нет, – резко сказал Сергей, – я считаю своим другом человека, которого подозревают в убийстве. Человека, против которого много серьезнейших улик. Если бы я работал в милиции, я бы, может быть, тоже был убежден, что он убил. Но я провел с ним все детство и юность и знаю, что он невиновен. И никакими уликами меня не убедишь.

– С другой стороны, – сказал Юра тихо, как бы раздумывая, – если человек опустил и все время находится в алкогольном бреду, откуда мы знаем, что он может наделать?

Сергей долго молчал. Потом встал и несколько раз прошелся по вершине холма. Я думал о том, как странно, что меня как будто и не волнует этот разговор. Как будто мне и неважно, убил Петька или не убил. Единственное, что мне важно, – чтобы меня оставили в покое. Какие-то дурацкие мысли лезли мне в голову! Например, можно ли лечь на траву полежать или это запрещено? «Хорошо бы купить мягкий билет, – думал я, – и до самого С. провалиться, укрывшись с головой одеялом». И еще я удивлялся тому, что Юра, обычно вспыльчивый, легко возбудимый, горячий человек, сейчас почему-то необыкновенно спокоен, а Сергей, человек спокойный, уравновешенный, весь кипит от волнения. Я, впрочем, думал и об этом совсем равнодушно, как если бы это были посторонние люди. Вероятно, мозг мой, перегруженный волнениями, требовал отдыха. Я думал еще, что надо сделать над собой усилие для того, чтобы снова стать активным, действующим лицом в этой драме, которую необходимо довести до благополучного конца. Думал и гнал от себя эти мысли. Я просто не был способен на какие бы то ни было усилия.

– Подумайте сами, – негромко заговорил Сергей, продолжая ходить взад-вперед мимо скамейки, – вчера вечером Клятов приходил к Петру. Они, очевидно, заранее условились, потому что Петр пишет в письме, что вечером к нему придет человек, и просит этому человеку не сообщать, что он, Петр, уехал совсем. Никто другой не приходил. Значит, речь шла о Клятове. Вероятно, Клятов убедил Петра идти на грабеж. Вероятно, он его запутал в долгах, запугал, убедил, скажем, в том, что никого из хозяев не будет дома. Я ведь не оправдываю Петьку, я понимаю, что он опустил, что он связался с подонками – словом, что он «наделал дел», как сам пишет. Но в то, что Петька пошел на убийство, – не верю! Получилось иначе. Пришла Нинкина телеграмма, Петя решил бежать. Не только от нас, а и от Клятова, который, наверное, держал его в руках так крепко, что Петьке было не выпутаться. И вообще от всякого бреда, который вокруг него. Клятов пришел, увидел, что Петьки нет, нашел другого соучастника и пошел на грабеж.

– Почему же ты это не сказал в милиции? – спросил Юра.

– Потому что милиция все это знает и сумеет, наверное, без меня разобраться. Она только одного не знает, что знаю я. Но как раз этого я объяснить не могу. Я знаю Петьку, а майор Петьку не знает. Я знаю, что Петька может оказаться в руках Клятова, но я знаю еще и то, что на убийство Петька не пойдет.

– Не понимаю, – сказал Юра, – что же мы можем для Петьки сделать? Ты сам говоришь, что объяснить майору, какой человек Петька, мы не можем.

– Во-первых, мы можем верить Петьке. Во-вторых, мы можем разыскать его и спросить, как было дело. Если виноват – пусть отвечает. Но пусть он мне сам скажет, что виноват. Пока я в это не верю. А если он не виноват, подумаем с ним вместе, как разбить обвинение. – Сергей помолчал и добавил: – Не верит же Тоня в его вину. Наверное, она про убийство нам говорила там, в милиции.

Юра осваивал новую идею. Ему всегда нужно было для этого время. Зато уж усвоив, он твердо за нее держался. С меня тоже начало сходить оцепенение, которое несколько минут назад казалось мне непреодолимым.

– Я предлагаю следующее... – Сергей сел на скамейку между Юрой и мной. (Юра смотрел на Сергея с напряженным вниманием, ожидая, очевидно, откровений.) – Я предлагаю следующее, – повторил Сергей, – мы все трое едем искать Петьку.

– Где искать Петьку? – спросил Юра.

– Прежде всего у Афанасия. Ручаюсь, что, когда Петька понял, что надо спастись от нас, от Клятова, от самого себя, он подумал про Афанасия. Первым же поездом едем в Клягино. Если Петька там, поговорим с ним. Пусть он мне скажет, что он не убийца. Я поверю ему. Вы поймите – он делает самое глупое, что только можно: скрывается.

– Почему же он скрывается, если он не убивал и не грабил? – Юра по-прежнему внимательно смотрел на Сергея, искренне стараясь его понять.

Хотя я и знал, что Юре всегда нужно все подробно и толково объяснить, меня все-таки начинали раздражать его вопросы. Меня порадовало даже то, что я раздражился. Временный паралич воли – не знаю, как иначе назвать то, что со мной происходило, – видимо, кончался. Вместо дурацких мечтаний о мягком вагоне и полном бездействии я начал соображать, действительно ли Клягино единственное место, где может оказаться Петр. С интересом я слушал доводы Сергея, который, видимо, твердо был убежден, что ехать надо именно в Клягино.

– Куда он мог поехать? – говорил Сергей. – Только к Афанасию Семеновичу. Каждый из нас в таком случае поехал бы к Афанасию.

– Ну хорошо, – медленно проговорил Юра, – а если у него за эти годы появились друзья, которых не знаем ни мы, ни Тоня? Если кто-нибудь из этих друзей уехал, скажем, па Дальний Восток и как раз недавно прислал письмо, что там есть работа и дают общежитие? Тогда что?

– Что же ты предлагаешь? – спросил Сергей, сдерживая раздражение. – Ты же должен понять: если Петька не участвовал в ограблении – а я убежден в этом, – то, во всяком случае, улики сложились против него серьезные. Он, как нарочно, делает все, чтобы подозрения подтвердились. Согласись сам, с точки зрения работников розыска, совершенно логична точка зрения: если человек невиновен, он скрываться не будет. Петька скрылся в тот самый день, когда был ограблен Никитушкин. Подозрительно? Безусловно. Мы должны его убедить в том, что единственный выход – явиться в милицию и сказать: «Я только сейчас узнал, что в Энске ограблен инженер Никитушкин. Мои друзья сообщили мне, что меня считают соучастником ограбления. Я ни в чем не виноват: уехал я из Энска в этот самый день совершенно случайно и, как только услышал, что меня подозревают, пришел к вам. Я не виноват но хочу, насколько смогу, помочь следствию». Пусть будет хоть тысяча улик против Петра, но если следствие сейчас даже убеждено, что он виноват, когда он явится сам, убеждение будет поколеблено.

– А если Петьки в Клягине нет? – спросил Юра.

– Если Петьки в Клягине нет, – сказал я, – так мы, по крайней мере, поговорим с Афанасием Семеновичем, расскажем ему все, посоветуемся с ним. Надеяться найти Петьку мы можем только в Клягине, больше адресов у нас нет.

Юра молчал. Очень тоскливое было у него лицо. Он никак не мог примириться с тем, что Петьку подозревают в ограблении и убийстве. Ему, по-моему, казалось, что, в сущности, все очень просто. Надо только объяснить следователям, что мы Петьку хорошо знаем, что он, конечно же, никак не может быть преступником. Юра в глубине души был убежден, что доказать Петькину невиновность так же просто, как доказать, что солнце встает на востоке и садится на западе.

– Что же ты предлагаешь? – снова раздраженно спросил Сергей.

Юра его как будто не слышал. Он достал папиросу, чиркнул спичкой, затянулся, выпустил дым. Потом посмотрел на речку, грустно вздохнул и сказал:

– Надо ехать.

– Пошли, – сказал Сергей.

Мы начали неторопливо спускаться с холма.

– Сейчас пойдем на почтаamt, – негромко говорил Сережа. – Во-первых, получим деньги и ответы на телеграммы. Во-вторых, надо позвонить Нине. Ты, Юра, скажи ей, что мы решили, раз уж вырвались с работы, поехать на несколько дней к Афанасию. Говори просто и весело. Понимаешь? Незачем кричать на весь почтаamt, что Петьку подозревают в убийстве.

Деньги и ответы на телеграммы уже пришли. С Ниной соединили довольно быстро. Пока Юра кричал в трубку: «Алло, алло, ты меня слышишь?» – я из автомата позвонил в железнодорожную справочную. Оказалось, что нужный нам поезд отправляется только в двенадцать



часов ночи. Когда я вышел из автомата, то услышал бодрый Юрин голос, разносившийся на весь почтамт.

– Решили поехать в Клягино! – кричал он. – Погулять, проветриться, понимаешь? Павел, Роман, Ольга, Виктор, Евгений, Тимофей, Роман, Иван, еще Тимофей, мягкий знак, Семен, Яков. – Тон у Юры был не свойственный ему, развеселый и лихой. Как будто жизнерадостный забулдыга предупреждал жену, что задержится с товарищами в ресторане и чтобы она его не ждала.

Вероятно, посетители почтамта, слушавшие этот разговор, решили, что Клягино – новомодный курорт, где жизнь идет разгульно и беззаботно.

Что подумала Нина, мне страшно предположить. Сопоставляя с прошлым нашим разговором, она, вероятно, поняла, что до сих пор очень мало знала своего мужа и что на самом деле человек, которому она отдала свою молодость, страшнейший запивоха. Не представляю себе, как иначе могла объяснить странный Юрин звонок женщина, не знающая подлинных обстоятельств дела.

## Глава одиннадцатая

### Приехали К Афанасию

У меня никогда не было дома в том смысле, в каком понимают дом люди с биографией, сложившейся благополучно. Я говорил уже, что не знаю своих родителей, никогда не знал домашних вечеров, которые с таким наслаждением описывали почти все люди, вспоминая свое благополучное детство. Мне доводилось видывать в окнах первых этажей ребят, склонившихся над тетрадкой или увлеченно читающих книжку; мать, зашивавшую разорванную рубашку; отца, углубившегося в журнал или газету.

В моей жизни такого не было. Мне это удавалось только увидеть иногда, в чужом окне, стоя на темной улице. Я говорю о себе, имея, разумеется, в виду каждого из четырех братиков.

Вероятно, мы многое упустили в детстве. Вероятно, лучше расти в семье с ласковыми родителями, с братьями или сестрами, с добродушной бабушкой. Я говорю «вероятно», потому что не могу сравнивать. Жизнь в семье известна мне по литературе, по некоторым случайным наблюдениям, по случайным рассказам, слышанным мною от товарищей. И все-таки наше детство тоже прошло неплохо.

Детский дом, директором которого был Афанасий Семенович, находился, по чести говоря, в очень неприятном месте. Когда я бывал в Клягине уже взрослым, то всегда удивлялся, почему для детского дома выбрали именно это село. Оно находится в восьми километрах от районного центра и станции железной дороги. Здесь есть несколько больших двухэтажных каменных домов и много полукаменных (первый этаж кирпичный, второй – бревенчатый). В этих домах жили когда-то торговцы, владельцы двух небольших ткацких фабрик, скупщики льна – словом, всякие купцы второй и третьей гильдий. Когда я стараюсь представить себе, чем жило наше Клягино до революции, то всегда вспоминаю «В овраге» Чехова. Наверное, здесь была такая же дикая, беспросветная жизнь. Так же обманывали и обвешивали, так же, затаившись в своих домах, как медведи в берлогах, копили деньгу и обманывали друг друга купцы, фабриканты, домовладельцы, так же какие-нибудь Хрымины-младшие катались по праздникам в санях или в колясках. Может быть, впрочем, хотя бы в некоторых из этих домов и был какой-нибудь, по тогдашним понятиям, уют: горели керосиновые лампы, топились печи, пеклись пироги. В наше время эти дома, каждый из которых, худо ли, хорошо ли, приспособлен для одной семьи, перенаселены, большие комнаты переделаны на клетушки, не похожие друг на друга люди живут тесно и от этого друг друга не любят, часто ссорятся из-за пустяков, враждуют и жалуются друг на друга. Это в больших домах. Там помещаются общежития ткацких фабрик или работников больницы, школы, сельсовета, колхоза. Гораздо лучше жить тем, у кого маленькие домики с садиком. К сожалению, этих маленьких домиков не очень много. Вероятно, здесь существовали какие-то умершие теперь виды торговли, потому что зачем-то селились же здесь купцы, зачем-то отстраивали себе двухэтажные хоромы.

Клягино удивительно неуютное село. И все-таки именно в Клягине обосновали детский дом, в котором выросли мы четверо и в котором директорствовал Афанасий Семенович. Вероятно, именно большие каменные дома прельстили его в Клягине. Наш детский дом занимал целых два таких здания. В одном помещался спальный корпус, в другом – учебный корпус и столовая. Восемилетняя школа была неподалеку, а старшеклассников возили в районный центр на автобусе. Совсем недалеко за селом начинался лес, большие пруды, в которых разводили карпов, и славная речка, в которой можно было купаться и даже плавать, и даже нырять с разбегу.

Нет, места кругом были хорошие, жаловаться – грех.

На нашей памяти благоустроились и занятия нашим детским домом корпуса. Афанасий Семенович был человек бешеной энергии. Под всякими предложениями он по кусочку оттяпывал

землю то у фабрики, то у кинотеатра, и в конце концов у нас образовался очень большой двор, в котором было место для игры в городки, и баскетбольная площадка, и еще много свободного места, где можно было бегать и играть в разные игры. Футбольное поле, правда, во дворе не помещалось, но Афанасий Семенович добился, что под самым селом построили стадион. Он принадлежал сельсовету, но мы приняли большое участие в его постройке и три дня в неделю безраздельно на нем хозяйничали.

Последним достижением была пристройка к учебному корпусу. В первом этаже помещалась большая светлая столовая, а во втором – великолепный спортивный зал и кинобудка, так что в случае нужды в зале можно было показывать кино. Ужас скольких хлопот стоила эта пристройка, скольких споров и ссор со строителями, скольких жалоб в рай- и облисполкоме, в рай- и обкоме партии!

Сдали эту гигантскую стройку как раз в тот год, когда мы поступили в вуз. На следующее лето мы трое приехали к Афанасию Семеновичу отдохнуть. Он с таким вкусом, с таким наслаждением водил нас по новой столовой и спортзалу, что, честное слово, нам даже стало обидно, что не придется обедать в этой столовой и заниматься гимнастикой в этом зале.

Поезд наш пришел в город, в восьми километрах от которого находилось село Клягино, в девять часов вечера. Последний автобус уже ушел, и мы, не раздумывая, зашагали пешком по такой знакомой, совершенно пустой в вечернее время дороге. По обеим сторонам шел лес, чудесный лес нашего детства. Афанасий Семенович был довольно строгий директор, но режим в детском доме был либеральный. В свободное время можно было уходить гулять по лесу, и если ты опаздывал к ужину, стоило забежать на кухню, чтобы получить у нашей поварахи, тети Кати, или у дежурной полный ужин, даже еще с прибавкой.

Мы шли по темной дороге. Нам не хотелось разговаривать. Мы вспоминали. Может быть, наш дом, где мы выросли, был хуже семейных домов с ласковой матерью и веселым отцом, но все-таки это был наш дом, в котором прошло наше детство, и детство это было для каждого из нас хорошим временем, полным радостей и забот, надежд и мечтаний. Не знаю, вероятно, детство в семье еще лучше, но и наше тоже было хорошим.

Часа через полтора показались огни Клягина. Теперь главную улицу села осветили фонарями, и перед фабриками стояли фонари, и перед кинотеатром тоже стоял фонарь, и промтоварный магазин, недавно выстроенный, освещался изнутри всю ночь.

Была уже половина одиннадцатого, когда мы вошли в село. В спальном корпусе погасли огни, и только в нижнем этаже тускло светилось окно. Тут лампочке полагалось гореть до рассвета. Потом мы прошли мимо детдомовского гаража, потом мимо общежития фабрики и наконец вошли в широко распахнутые ворота детского дома. Ворота никогда не запирались. Думаю, что в этом был умысел нашего Афанасия, как издавна звали его за спиной воспитанники. Он понимал, Афанасий, что, если ворота закрыты, непременно хочется убежать.

На втором этаже, как всегда, светилось окно. Афанасий Семенович сидел у себя в кабинете. Весь день он был в хлопотах, в беготне, в том неумолчном шуме, который неизбежно производят сто тридцать детей, собравшихся вместе. И, только вернувшись из спального корпуса, пожелав спокойной ночи отдельно каждому из ста тридцати ребят, Афанасий шел к себе в кабинет и сидел допоздна в опустевшем, затихшем доме, наслаждаясь тишиной и покоем. Здесь он писал письма, решал шахматные задачи, продумывал вопросы, требовавшие решения.

Мы довольно долго стучались в дверь. Очевидно, дежурная по кухне крепко заснула. Наконец послышались шаги Афанасия. Его шаги не спутаешь ни с чьими другими. Он чуть прихрамывает. Раны войны зажили, но одна нога все-таки не в порядке. Он, не торопясь, открыл дверь, совсем не удивился, увидя нас, даже не поздоровался с нами и только сказал:

– Я ждал вас раньше.

Он повернулся и пошел по лестнице вверх. Мы заперли дверь и пошли за ним.

И вот мы сидим в кабинете: Афанасий Семенович за своим письменным столом, мы трое – на диване.

– Ну, что скажете? – говорит Афанасий Семенович.

Мы не знали не только что сказать, а что и подумать.

Здесь Петр или не здесь? Если не здесь, почему Афанасий Семенович нас ждал? Если Петр приехал, почему Афанасий Семенович молчит?

Мы переглянулись, и первым собрался с духом Сергей.

– Петя здесь, Афанасий Семенович? – спрашивает он.

Странно. Мы, три человека с высшим образованием, с некоторым, можно сказать, жизненным опытом, сидим на том же самом диване, на котором сживали много лет назад, с тем же чувством, какое бывало, когда нашалишь и позовут «пред светлые очи» и с трепетом ждешь разноса. Афанасий Семенович молчит и смотрит на нас. Он очень серьезен, даже хмур. А обычно, когда приезжают его бывшие воспитанники, он весел и оживлен. Мы молчим.

– С чем вы приехали? – спрашивает вдруг Афанасий Семенович.

Мы опять растерянно переглядываемся. Никто из нас ничего не понял.

– То есть как? – робко спрашивает Сергей.

– С чем вы приехали? – повторяет Афанасий Семенович. – Вы приехали ругать Петра, поминать ему его грехи? Да или нет?

– Нет, – говорю я.

– А зачем? – спрашивает Афанасий. (Мы молчим.) – Говорить ему, что он хороший? Что он ни в чем не виноват и что жизнь его до этого довела?

– Нет, – говорит Юра.

– Так зачем вы приехали? – почти кричит Афанасий Семенович. – Хвастаться перед собой, что вы хорошие друзья? Что вы не покинули товарища в беде? На девять лет покинули, а тут вдруг всполошились! Ах, как неудобно получается: наш друг спился, жену с ребенком бросил, босяком стал, еще нас, не дай бог, в чем-нибудь обвинят.

– Афанасий Семенович, – бормочет растерянно Юра, – мы ж ничего не знали...

Афанасий Семенович даже задохнулся. С ним это бывало, когда он впадал в крайнюю степень ярости. В этих случаях даже отчаянные хулиганы скисали. В этих случаях Афанасий мог и стулом запустить. Мог и графином с водой шмякнуть об пол. Он, по-моему, и сейчас начал судорожно искать руками что-нибудь, что можно сломать или разбить. Потом удержался, правда, но ему это недешево стоило.

– Вы сюда приехали врать мне? – крикнул он. – Дураками прикидываться? Сказки будете мне рассказывать, что всему верили? Умные люди, с высшим образованием, такими вдруг дурачками стали, прямо блаженненькие какие-то. Петька, слабый человек, растерялся, сказочки вам про себя пишет, а вы, изволите видеть, верите? Девять лет не видите друга под разными отговорками и всем отговоркам верите?.. Да что же, я у себя в доме вас полными идиотами вырастил?

Все, как бывало когда-то. Произошло ЧП. Подрались с ребятами на улице, нахватили двоек в школе и скрыли – и вот сидим пред грозными очами, и провалиться сквозь землю хочется.

Хорошо, если бы так же, как бывало когда-то. Можно извиниться перед ребятами, которых побили на улице. Можно упросить учителя и исправить двойку. Все можно было тогда исправить, в детское наше время. А как исправишь сейчас? Что, если погиб Петр и никакими силами не соберешь нашего друга из обломков? И в тысячу раз страшнее, чем в детстве, сидеть сейчас под яростным взглядом Афанасия.

– Грех можно простить, – продолжает Афанасий. Он говорит неожиданно тихо, хотя и не менее яростно. – Преступление можно простить. Каждую вину можно простить. Равнодушия нельзя простить. Чистенько сделано, ничего не скажешь! Не придерешься. Что Петр писал?

Что у него дела идут превосходно, что он уважаемый человек, портрет висит на заводе, депутат райсовета, чуть не Герой Труда. Bravo, Петя, молодец! Небось и письма храните. Если будет когда-нибудь такое собрание, на котором спросят, как же вы друга кинули, у вас аккуратненько все пришпилено: пожалуйста, можем предъявить. Нас обманывали, нам наш друг голову морочил. Он виноват. А мы чистенькие, нас обвинять не в чем. Да совесть-то есть у вас? Она-то ведь знает, что друг ваш девять лет в письмах кричал «спасите», если эти письма читать как следует. Или не говорила совесть? Или думали так: «Поедем, деньги на поездку истратим, подарок какой-нибудь привезем, вино какое-нибудь дорогое, деликатесы. Вот билетами да деликатесами от совести и откупимся. Тут уж совесть и сама скажет: хорошие товарищи, замечательные товарищи!..»

Афанасий Семенович теперь стоял за столом, и, как бывало в прежние, детские годы, встали и мы все трое. Ужасно было то, что Афанасий был прав даже в мелочах: и вино дорогое купили, и деликатесы достали, и Петькины письма хранили. Не для собрания, правда. Знали, что не может быть такого собрания. Ну, а для чего же? Все-таки для чего? Неужели для того, чтобы, если совесть зашевелится, ей предъявить: вот, пожалуйста, оправдательные документы в порядке.

Юра и Сергей были совершенно белые, просто ни кровинки в лице. Вероятно, такой же белый был и я.

– Ну, – спросил Афанасий Семенович, – что скажете, «порядочные люди»?

Он смотрел на нас в упор и ждал ответа. Надо было отвечать. Но у меня язык прилип к гортани, как прилипал когда-то в детские годы. Я посмотрел на Юру – у него дрожали губы. У Сергея на лице ничего не отражалось. Он был, кажется, такой же, как всегда, только бледный, но, когда он заговорил, я по голосу понял, что он так же взволнован, как и мы. Голос у него срывался, был какой-то неестественно хриплый.

– Знать не знали, – сказал он почему-то очень медленно, – а подозревать – подозревали и скрывали подозрения друг от друга и от себя, так что...

Он долго молчал, и я не понимал, почему он молчит и что он хотел сказать этим загадочным «так что». А потом я заметил, что у него дрогнуло лицо, и понял вдруг, что он изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать.

Ох, как тихо было в кабинете! И какая насыщенная была эта тишина!

Сергей все-таки удержался и не заплакал, хотя слезинка выползла у него из угла глаза.

– Так что, – повторил он, – вы правы.

Афанасий Семенович еще помолчал минуту и потом сказал:

– Пойдемте. Петр у меня дома. Он боялся, что вы приедете, и просил меня скрыть его от вас. Я ему обещал и обману его. Поведу вас к нему. Если спасете Петра, значит, все-таки в вас что-то человеческое осталось, а не спасете – значит, вы рвань и подонки.

Чуть заметно волоча ногу, он вышел из кабинета. Мы трое пошли за ним.

## Глава двенадцатая

### Встреча с Петькой

Дом, в котором жил Афанасий Семенович и еще несколько сотрудников детского дома, находился в самом конце нашего большого участка. Одна его стена, глухая, без окон, выходила на другую улицу. Вход был со двора. Афанасий Семенович был человек одинокий, занимал однокомнатную квартиру с довольно просторной кухней и даже ванной. В комнате стоял письменный стол, большая тахта и узкий, но длинный диван, на котором стелилась постель в том случае, когда кто-нибудь приезжал в гости. Это роскошное здание было построено, когда мы еще учились в школе и, стало быть, были воспитанниками детского дома. До этого Афанасий Семенович жил в своем служебном кабинете. Вероятно, с той поры у него и осталась привычка сидеть в этом кабинете допоздна. Я, в сущности говоря, не знаю, когда он бывал в своей квартире. Свободных дней у него, по-моему, никогда не было. Вероятно, дома он только ночевал.

Все мы, его воспитанники последних десяти или одиннадцати лет, знали эту квартиру великолепно не потому, что кто-нибудь пытался туда залезть, хотя ничего не могло быть проще. Любая копейка свободно открывала дверной замок. Если копейки не было, можно было по огромной липе, росшей у самого дома, влезть на чердак и через дощатый люк, который легко поднимался, спуститься в ванную комнату. Какой идиот проделал люк именно в ванной, не знаю. Мой жизненный опыт, впрочем, подсказывает, что многие поступки строителей нормальный человек понять не способен.

Так вот, повторяю, никто из воспитанников никогда не пытался залезть в квартиру, хотя среди нас были юноши с богатой не по возрасту биографией. Афанасия Семеновича любили все. Если бы кто-нибудь осмелился что-нибудь у него украсть, думаю, что воспитанники сами применили бы санкции, более, пожалуй, суровые, чем те, которые в этих случаях применяет закон.

Но Афанасий Семенович был человек рассеянный. В этой рассеянности была известная система. Он всегда забывал дома именно то, что как раз в этот день было ему совершенно необходимо. В этом случае он ловил первого попавшегося воспитанника, долго искал ключ от квартиры, который висел у него на кольце в числе очень многих ключей, и, найдя, говорил:

– Сбегай, миленький, ко мне. У меня там в нижнем правом ящике стола лежит черная тетрадь, а в ней сложенный вчетверо лист бумаги; ты увидишь, там написано наверху: «Акт». Принеси мне его, голубчик, пожалуйста...

Ключ иногда он искал долго, но если кто-нибудь из ребят говорил: «Да вы не волнуйтесь, я и без ключа открою», он делал вид, будто не слышит. Ему, наверное, неприятно было сознание, что он живет в квартире, в которую каждый может войти.

Он очень мало изменился за те годы, что мы не виделись. Когда мы подошли к дому, он вынул свое знаменитое кольцо, велел Юре посветить и, пока Юра чиркал спичку за спичкой, долго искал ключ. Наконец ключ был найден, дверь отперта, и мы вошли в квартиру. Комната была ярко освещена. На узком диване, на котором обычно спали гости, на этот раз спал Петька. Он подогнул колени так высоко, что они находились совсем близко от подбородка, а под голову подложил согнутую руку. Странно, но он всегда так спал. Одно время из-за этой манеры за ним даже укрепилось прозвище «Калачик». Я совершенно забыл об этом прозвище и вспомнил только сейчас, глядя на безмятежную сонную Петькину физиономию. Что-то такое трогательное, детское было в этой его, позабытой мною, позе, что мне стало страшно. Неужели этот самый Петька Калачик, посапывающий сейчас так же безмятежно и ровно, как посапывал когда-то в нашей спальне, – неужели он и есть спившийся босяк, бросивший жену и ребенка, выгнанный с позором с работы, задумавший с Клятовым грабеж и убийство? Может быть, эти же или подобные мысли пришли нам всем. С минуту или больше мы стояли над Петькой, и

никто не решался его разбудить. Наконец Афанасий Семенович откашлялся и потряс его за плечо. Петька открыл глаза. Он увидел нас, стоящих вокруг, и вскочил. В глазах его мелькнул ужас. Как будто не мы, друзья, а преследователи настигли его, спящего. Как будто это он грабил с Клятовым двух стариков. Как будто это он, ни минуты не поколебавшись, убил несчастную старушку, испуганную и растерянную.

Петька сел на диване. Сна у него не было ни в одном глазу. Он с упреком посмотрел на Афанасия Семеновича.

– Я же просил вас... – сказал он с укором.

– «Просил, просил»... – проворчал Афанасий Семенович. – Голову на плечах надо иметь. Друзья же приехали. Может, чего помогут, чего посоветуют.

Петька молча протянул руку Сергею, потом мне, потом Юре. Мы все поздоровались с ним тоже молча.

– Рассаживайтесь, – сказал Афанасий Семенович, – заседание совета по спасению утопающего объявляю открытым.

Он сел на стул, на других стульях расселись мы. Никто не решался начать разговор. Все молчали.

– Ну, что говорить... – опустив глаза в пол, сказал наконец Петька. – Вы письмо мое получили?

Мы промолчали, только Сергей чуть заметно кивнул головой.

– Вот самое страшное и позади, – продолжал Петя. – Честно сказать, я все эти годы очень боялся минуты, когда вы всё узнаете. Я понимал, что узнаете вы непременно. Не может того быть, чтобы не узнали. Я представлял себе всегда самое скверное. Вот, думаю, затесался я спяну в драку, задержали меня, и кто-нибудь вам об этом сообщил. Добились вы свидания... Приходите в тюрьму... Хорошо хоть до этого не дошло.

У Юры были очень испуганные глаза. К счастью, Петр на него не смотрел. К счастью, он и на меня не смотрел. Я за свое лицо никак не мог поручиться.

Ничего нельзя было понять. Дернуло же Петьку как раз сейчас заговорить о тюрьме и радоваться тому, что тюрьма его миновала. Случайно это или не случайно? Ведь он-то, наверное, лучше нас знает, о чем улавливался с Клятовым. Ведь не делаются такие дела без подготовки. Вероятно, следили за этим несчастным инженером, где-то разузнавали, есть ли у него дома деньги и сколько, и где он хранит их, в каком шкафу и на какой полке, и не сдал ли в сберкассу. Чему же радуется Петька? Что, собственно, хорошо? Что, собственно, он имеет в виду, говоря, что до этого не дошло? Я искоса посмотрел на Афанасия. Он сидел внимательный, но спокойный. Даже какая-то удовлетворенность выражалась у него на лице. В самом деле: запутался его воспитанник, опустился. Но вот друзья хоть поздно, но спохватились, вот и он уже все узнал. Теперь он не даст этому воспитаннику покоя, не позволит ему барахтаться на дне, заставит его взять себя в руки...

Вероятно, я понял бы удовлетворенный вид Афанасия, успокоенный тон Петьки, если бы... Если бы не светлая ночь в Яме, не храп пьяных стариков, если бы не вопрос майора милиции: как мы думаем, куда мог исчезнуть Груздев?..

Всякое прошлое можно забыть, но только тогда, когда оно мертво, когда оно не тянет свои длинные руки в настоящее, в будущее, во всю дальнейшую жизнь...

– Ну ладно, ребята, – сказал Петька, – я виноват перед вами. Наврал вам действительно с три короба, совестно даже вспомнить. Честно говоря, я все время боялся, как бы не спутать. От письма до письма как-никак целый год проходил. Можно бы и забыть, что писал в прошлый раз. Особенно при моем-то образе жизни. Вот представьте себе: этот год я написал, что не могу приехать, потому что квартиру получаю, а следующий год опять пишу: мол, не приеду, получаю квартиру. И адрес тот же, что в прошлом году. Представляете? Вот это да! Одну и ту же квартиру два раза получил. Вы бы сразу обо всем и догадались.

Петька засмеялся счастливым смехом. Да, я сказал точно: именно счастливым. У него, видно, отлегло от души. Столько лет мучился он этой неправдой, которую нагромождал год от года, столько лет боялся, что когда-нибудь неправда откроется. И вот наконец эта тяжесть спала с него. Все было уже открыто. Вся правда сказана. Как будто дорога пошла вверх. Как будто дно пропасти было пройдено. Начинался подъем.

Ох, если бы все уже было открыто!

Кажется, мы улыбнулись. Я, впрочем, не помню. Петьке, во всяком случае, показалось, что мы оценили его шутку и, хоть не смеемся громко, в душе поняли, как это было бы смешно, если бы он два раза получил одну и ту же квартиру.

А скорей всего, впрочем, он и смеялся не оттого, что ему было смешно, а оттого только, что рухнула наконец бесконечная ложь, путаница, которую сам он нагромоздил и которую не решался разрушить.

Ох, если бы и вправду рухнула эта ложь!

Мы все трое молчали.

– Вы, ребята, у Тони были? – спросил Петька, отводя глаза в сторону. Ему было неловко и тяжело говорить о Тоне.

Сергей кивнул головой.

– Я знал, – усмехнулся Петька, – что вы к ней пойдете. Я адрес нарочно вам написал. Прямо-то просить мне было неудобно, ну и я, так сказать, намеком. Они, думаю, ведь какие товарищи. Замечательные! Редко кому таких судьба посылает.

Он смутился, смутился до того, что весь покраснел. Ему показалось, что это фальшивые слова и фальшивая интонация. Точно у нищего: «Добрый господин, не оставьте вашей милостью...» Так и здесь: «Вы же хорошие друзья, вы меня не оставите».

– Тоня – женщина замечательная, – серьезно и убежденно сказал Петя. – Перед вами я виноват, а перед ней в сто раз больше. – Он улыбнулся немного смущенно. – А Володьку видели? Вот богатырь парень! Я уж к Тоне не ходил – стыдно было, а перед тем как бежать из Ямы, за бетонными плитами спрятался. Там у нас бетонные плиты сложены, строить что-то собираются, а Тоне в ясли мимо ходить. Она прошла, меня не видала, а Володька будто даже и улыбнулся. Ну, правда, может, мне просто показалось. Я все-таки издали смотрел.

Он помолчал, как будто вспоминая, как он выглядел из-за этих бетонных плит, боясь, чтобы случайно его не увидели.

– Нет, с этим кончено, – продолжал он с очень серьезным лицом, – с этим совсем кончено, навсегда. Тоня простит меня, я знаю, что простит, и станем жить как люди. – Он еще помолчал. – Я ведь, знаете, отчасти и не ходил к Тоне потому, что знал, что простит и даже словом не помянет. Даже просить ее не придется. Простит, и все. Это даже представить себе невозможно. Ведь такой оказываешься негодяй, когда представишь себе это, что слов нет. И еще, знаете, почему не шел? Это уж совсем стыдно, но я скажу. Мы с вами сказки читали маленькими. Хорошо-то я их не помню, а одно запомнил. Да и вы, наверное, тоже. Вот, мол, существует чудовище, страхолюда такая, а принцесса его полюбила. И вдруг чудо. И является он к ней прекрасным принцем. И музыка играет, и все радуются. Может, я путаю, но что-то в этом роде в сказках было. Вот и мне хотелось из страхолюды в прекрасного принца превратиться и к ней прийти. – Он улыбнулся. – В сказках-то это просто! Никак меня не устраивало, чтобы не прекрасным принцем, а просто, скажем, нормальным человеком стать. И, скажем, не сразу, а постепенно. Никак это не устраивало. Обязательно хотелось чуда. Без чуда я был несогласен. Вдруг, понимаете, яркий свет – и страхолюда превратился в красавца, и музыка играет, и все радуются... На самом-то деле я просто выбраться из болота не мог. Мне, понимаете ли, казалось, что уж только за то, что я согласен хорошим стать, мне положено чудесное превращение. Вот ночью не спишь – мечтаешь. А утром все на часы смотришь: когда же водку начнут продавать; мелочи наскребешь на четвертинку и ждешь. И знаешь ведь, что чудес не



бывает и что нужно не о чуде мечтать, а на эту мелочь кефира или кофе напиться и пойти к начальнику цеха попросить, чтобы на работу обратно принял, да, может, еще и второй раз попросить, и третий и не обижаться, когда отказывает. И впроголодь жить до зарплаты. И собутыльникам твердо сказать: я больше вам не товарищ. И работать, напряженно работать, каждый день восемь часов двенадцать минут. И часть получки Тоне послать. И в выходные дни, когда свободен, быть одному, потому что к Тоне-то надо вернуться, уже когда утвердишься. А пока не утвердишься – никак невозможно. И все это долго надо делать, не неделю, не две... Гораздо проще вместо этого представить себе яркий свет и музыку, и ты появляешься молодой и красивый в нарядном кафтане... Вот, братики, какое дело. И еще я вам одну вещь расскажу, только о ней попрошу вас никому не говорить. И стыдно мне за нее очень, да, по чести сказать, и неприятности у меня из-за нее могут быть...

Мы молчали. Я окончательно перестал что-нибудь понимать. То есть я понимал, что Петька собирается рассказать про историю с Клятовым. Но какими же странными словами он предварял свой рассказ! Согласитесь сами, что слово «стыдно» не полностью выражает то, что должен испытывать человек после грабежа и убийства. И слово «неприятности» вряд ли подходит к долгим годам заключения. Это было первое мое чувство, когда Петька сказал, что он должен нам сообщить еще одну вещь. А потом я спохватился: ну да, он же не грабил и не убивал. Мы в это верим. По крайней мере, условились в это верить.

Я посмотрел на Сергея. Я надеялся, что он мне подаст знак: не волнуйся, я все беру на себя, я сам все скажу. Но он смотрел на меня растерянно и, кажется, надеялся, что я возьму на себя этот ужасный разговор. И на Юру я посмотрел. Бывают же чудеса, может же он хоть один раз проявить себя как человек твердый, решительный, на которого вполне можно положиться. Но у него были такие испуганные глаза, что мне и смотреть расхотелось. Итак, мы все трое молчали. Молчал и Афанасий Семенович. Молчал и Петька, собираясь с силами, чтоб рассказать нам страшную правду.

Если бы он только знал, насколько настоящая правда страшнее той, которую он решил нам по секрету сообщить.

– Так вот, – начал наконец Петр, – вы Клятова видели? – Мы кивнули. Значит, он приходил. – Петька рассмеялся. Да нет, не рассмеялся, усмехнулся еле заметно. – Я ему деньги должен, придется отдавать. Двести рублей я у него взял. Я просил пятьдесят, чтоб с хозяйкой расплатиться и на жизнь себе оставить, но он уговорил взять двести. Завтра, говорит, у нас денег много будет, разочтемся с тобой без труда. А пока на, держи. Может, жене пошлешь или выпить захочется, или чего из одежды купишь.

Петр опять замолчал. Молчали и мы.

– Двести рублей я ему отдам. Не сразу, конечно, ну хоть по двадцать рублей в месяц. Если, скажем, я сначала буду рублей восемьдесят зарабатывать. Двадцать – Тоне, двадцать – ему. Прожить можно. Пропивал-то я, бывало, и больше. А теперь пить не буду. Мне рублей сорок останется, я и проживу. А потом я больше зарабатывать стану. У меня ж квалификация неплохая.

Петька опять замолчал. Я, да, наверное, и все мы, понимали, что он никак не решается нам рассказать про договоренность свою с Клятовым, про то, что хотя на минуту, хотя только в мыслях согласился он перейти грань между просто опустившимся человеком и преступником. Насколько же более страшные вещи должны были мы ему рассказать.

И тут я заколебался. В конце концов, девять лет мы не видели Петьку и ничего не знали о нем. Много, очень много может за девять лет произойти с человеком. А что, если Петька хитрее, чем кажется? Что, если, получив Нинкину телеграмму, он придумал всю эту историю с раскаянием, со стыдом, с бегством для того только, чтобы, пока мы спим в его комнате, спокойно пойти на грабеж? Что, если по дороге он подстерег Клятова и дал ему инструкцию, как себя с нами вести, что нам говорить, а сам, посмеиваясь, поджидал его за углом? Может быть,

для него и насвистывал Клятов? Я помню, что когда он шел по улице, то насвистывал. Может быть, это был сигнал Петьке, что, мол, выходи, все в порядке? Может быть, встретились они там, где мы уже не могли их видеть, и улыбнулись друг другу. Мол-де, этим ребятам, которые так некстати приехали, голову совсем заморочили, так что они теперь покажут в милиции то, что нам надо. Меры безопасности приняты, можно отправляться. И, успокоенные, пошли грабить.

Но если так, почему же Петька приехал к Афанасию Семеновичу? Ведь именно здесь-то наверняка его и будет искать милиция.

Что ж! Может быть, Клятову есть где спрятаться, у него есть фальшивые документы, а Петьке негде, и документы для него не приготовлены. Когда пришла телеграмма от Нины, моментально созрел план разыграть раскаяние, стыд за прошлую ложь, бегство от друзей и все остальное. Может быть, для этого он и сидел за бетонными панелями, делая вид, что прячется. И ведь прятался-то хитро, так, что Тоня его заметила. Он понимал, что Тоня расскажет про то, как он, скрываясь, смотрел на сына потому хотя бы, что это, кажется ей, подтверждает ее убеждение в том, что хоть Петька и опустившийся человек, но уж, во всяком случае, не грабитель и не убийца.

Все эти мысли промелькнули у меня очень быстро. Это на бумаге кажется, что они были длинные. Но, думая все, о чем я рассказал, я чувствовал, что это плохие мысли, не товарищеские, не честные мысли, и мне было стыдно за них, так стыдно, что я даже покраснел.

Покраснеть-то покраснел, а все-таки где-то во мне будто сидел какой-то чертик и все повторял, что, конечно, Петьку я знаю хорошо, – а вдруг убил он? Убил, а теперь думает: если задержит милиция, скажу, мол, следователю на допросе, что действительно собирался, мол, на грабеж с Клятовым, но опомнился вовремя, одумался. Может быть, и полагается за этот замысел какое-нибудь наказание, но уж, наверное, не очень тяжелое.

Гнал я, гнал этого чертика, а он все твердил свое. Правда, еле слышно, потому что, как только можно было, я заглушал его голос, а все же твердил и твердил.

– Так вот, – сказал наконец Петька, – Клятов этот разведкал, что один инженер, большой человек в прошлом, получавший и зарплату большую и разные премии, а теперь ушедший на пенсию, решил сыну, который живет в Москве, подарить «Волгу», и будто бы сегодня, скажем, он снял со сберкнижки большие деньги, а послезавтра должен их в магазин нести. И если, мол, завтра зайдем мы с Клятовым к старикам, а живут они за городом в отдельном домике, и немножко их попугаем, то можем эти деньги легко забрать. А повезет – и еще чего прихватим, может, ценности есть какие: золото, бриллианты, женские украшения. Ну я и согласился.

Петька опять помолчал. А чертик мой, который гадости мне нашептывал, разошелся вовсю: «Может быть, конечно, и так, – говорил он, – а может быть, и очень ловко придумано. Вроде во всем признается, ничего не скрывает и в то же время ни в чем не виноват».

И как я ни приказывал этому чертику замолчать, все же стало казаться мне, что не искренне говорит Петька, что разыгрывает страшную душевную драму, и не искренне разыгрывает, театрально.

– Клятов за мной вечером должен был зайти, – сказал Петька, – а тут телеграмма пришла от Юриной жены, что едут братики. И такое меня охватило чувство, что даже и сказать не могу; может быть, если бы вы не приехали, я бы уже был бандитом, грабителем.

И тут наступило такое долгое молчание, что даже сейчас, когда я вспоминаю о нем, мне становится страшно.

Мы все слышали это молчание. Один только Петька его не слышал. Счастливая улыбка была у него на лице. Улыбка, которая казалась просто глупой, – так она сейчас была не к месту. Петр встал и начал прохаживаться по комнате и все улыбался, глупо, по-детски, и мы смотрели на него совершенно растерянные и не знали, что делать. Наконец идиотски счастливым тоном Петька заговорил.

– Теперь все позади, – сказал он и улыбнулся и все мерил комнату шагами: пять шагов в одну сторону, поворот, пять шагов в другую, – теперь я даже рад, что так все получилось, что чуть-чуть не стал преступником. Мне нужен был удар палкой по голове, чтобы оглянуться и понять, до какого ужаса я дошел. Вот судьба меня и трахнула палкой: смотри, голубчик, куда докатился. Теперь уж нельзя думать, что обойдется. Теперь уж нельзя, если схватит отчаяние, выпить стакан водки и возмечтать, что все ошибка, а на самом деле я хороший. Придет добрый дядя, погладит по голове и скажет: «Ты, Петя, замечательный человек. Ни в чем ты не виноват».

Петя все продолжал ходить и улыбался странной улыбкой, а мы сидели не шевелясь, глядя на него с ужасом. Он не замечал ужаса в наших глазах потому только, что весь переполнен был особенным своим настроением. Весь переполнен был и горестным чувством, что все так было ужасно, и радостным чувством, что все прошло и самое страшное не случилось.

– Нет, виноват, виноват, – заговорил снова Петя, – до такого низа дошел, что дальше уж некуда. И все-таки остановился. Это я вам должен быть благодарен. Это вы меня, братики, спасли. Хотя и не знали, что со мной происходит, а спасли. Я как телеграмму от Юриной жены получил, так меня будто ледяной водой облили. «Что ж, – думаю, – такое, как же я им в глаза посмотрю? Бежать, бежать... И убежал. Не от вас, а от преступления убежал. – И снова он молчал, улыбался странной своей улыбкой, прохаживался по комнате: пять шагов в одну сторону, поворот, пять шагов обратно, опять поворот.

И снова мы смотрели с ужасом на него, а он нашего ужаса не чувствовал и не угадывал.

– Теперь все изменится, – говорил Петька, – я в себе теперь столько силы чувствую, вы себе даже представить не можете. С пьянством покончено навсегда, это я точно знаю. Оказывается, это даже не трудно. Твердо себе приказал, и все. Мне теперь даже странно, почему я раньше таким слабым был. Когда встряхнуло меня по-настоящему, я будто опомнился. И чувствую, что тяга к вину и вся грязь, в которой жил, и Анохины, и вся эта Яма – только наваждение. Как захотел – напрягся и скинул. И нет его. Теперь, конечно, много еще дел. И Тоню надо вернуть, и сына, и на работе доказать, что ты другой человек... Но это все ничего, потому что это уже не вниз идти, а вверх... Хорошо, Володька еще маленький. Он вырастет и знать ничего не будет. Отец как отец, уважаемый человек, высокой квалификации. А может, я и кончу хоть не вуз, хоть техникум для начала. А потом... Ну ладно, рано пока думать об этом. А когда Володька совсем вырастет, я ему все расскажу. Пусть знает, как отец в пропасть катился, но удержался на самом краю...

Юра со всей силой ударил кулаком по столу и вскочил.

– Да замолчи ты наконец, черт тебя побери! – заорал он.

Он был вне себя. Его прямо трясло. Петька остановился и растерянно смотрел на него, не понимая, что он сказал такого, чем вызвал Юрину ярость. Честно говоря, я был благодарен Юре: кто-то должен был оборвать этот непереносимый, невыносимый монолог.

– А что такое, ребята? – спросил Петька. Очень растерянное и жалкое было у него лицо.

Юра молчал. Он на свой истерический выкрик истратил, видно, все силы.

Несправедливо было надеяться, что он возьмет на себя всю тяжесть предстоящего разговора.

И опять молчание длилось.

И наконец, не потому, что я решил взять разговор на себя, а потому только, что во что бы то ни стало хотел прервать нестерпимое это молчание, я заговорил.

– Знаешь, Петя, – сказал я, – а этого инженера с женой ограбили все-таки и даже жену убили.

Петя смотрел на меня и, кажется, с трудом понимал, о чем я говорю.

– Что ж, Клятов один пошел? – спросил он каким-то чужим голосом. – Он говорил, что одному не управиться.

– Нет, – сказал Сергей, он, видно, тоже собирался с силами, – грабили двое, и милиция считает, что второй – это ты!

## Глава тринадцатая

### Добровольная явка

Мне кажется, что Петька не сразу понял смысл того, что мы ему сообщили. Он смотрел на нас с удивлением и что-то соображал про себя. Может быть, он старался себе доказать, что не могло получиться так, как мы говорили. Не мог Клятов обойтись без Петьки, не мог в один вечер найти ему замену. Про убийство он, наверное, даже не думал, он пропустил его мимо ушей. Уж слишком это было невероятно.

Впрочем, думаю, что в первые минуты чувства владели им сильнее, чем мысли. Даже не чувства вообще, а одно определенное чувство. Вероятно, оно походило на то, что чувствует человек, сбросивший с усталых плеч тяжелый груз, вздохнувший, распрямивший плечи и вдруг почувствовавший, что груз не только по-прежнему лежит на плечах, но стал еще тяжелее, еще больше пригибает к земле.

Прошрое, от которого он, казалось ему, избавился или начал избавляться, снова владело им больше, чем когда-нибудь.

Так думал я, пока все мы молчали и глядели на Петьку, а Петька постепенно только осознал всю бездонную глубину той пропасти, на краю которой он стоял.

– Как же это, ребята? – сказал вдруг Петька растерянно и обвел всех глазами, как будто ждал, что кто-нибудь рассмеется и скажет: «Да нет, Петя, это мы пошутили».

Мы трое сидели хмурые и невольно отводили глаза. Но самым хмурым был Афанасий Семенович. Я, да и все мы, почему-то не сообразили, что для него ведь тоже это была новость. Ошарашивающая, оглушающая новость.

Петька закрыл лицо руками. Такое горе выражалось в его фигуре, в его опущенной голове, даже в руках, которые закрывали лицо, что проклятый чертик примолк, понимая, вероятно, что сейчас минута, не подходящая для того, чтобы нашептывать подозрения.

– Петя, – сказал Сергей очень мягко, – если ты говоришь, что не участвовал в преступлении, так чего ты боишься? Тебя, может быть, арестуют на время следствия, но теперь же знаешь какие научные методы, всякие анализы, исследования... Раз ты не грабил, значит, нашел Клятов кого-то другого. Уверю тебя, что его поймают.

С точки зрения логики Сергей был совершенно прав, и все-таки для Петьки это было довольно слабым утешением. Наука-то наука, но ведь и наука ошибается. И когда от нее зависит твоя судьба, то, честно говоря, начинаешь испытывать некоторые сомнения в безусловной точности этой самой науки. Поэтому, вероятно, лицо Пети не выражало спокойствия и уверенности, когда он наконец отнял от лица руки. Если говорить честно, лицо его выражало прежде всего страх.

Я это говорю совсем не в осуждение. На месте Петьки я бы тоже очень испугался. Да еще надо понять, что нервы его были истрепаны постоянным пьянством, что, вероятно, и мозг его был не совсем нормален. Ну, словом, любопытные пусть прочтут любую брошюру о вреде алкоголя. Не сразу же восстанавливается то, что алкоголем разрушено. А постоянное чувство униженности! А окружение чудовишных стариков с Трехрядной улицы! Да, наконец, сама Яма – мрачное и страшное место... Короче говоря, тут и нормальный человек испугался бы, а Петька конечно же в то время был не совсем нормальный.

– А вы точно знаете? – спросил Петька.

Сергей не торопясь, очень обстоятельно рассказал, как мы ночевали в Петькиной комнате, как утром нас забрала милиция, как в этой милиции нас допрашивали и как нам стало ясно, что подозревают именно его, Петра Груздева. В частности, и потому, что в доме Никитишкиных нашли зажигалку, которую мы признали принадлежащей ему. Сергей рассказывал очень спокойно. Я думаю, что он хотел внушить Петру это спокойствие, заставить его понять,

что именно сейчас, в этих очень трудных, даже опасных, обстоятельствах надо быть спокойным и рассудительным.

Петька слушал молча, очень внимательно, иногда кивая головой, как будто подтверждая, что так он себе все и представляет.

Наконец Сергей кончил свой рассказ, и опять наступило молчание. Чтобы не возвращаться к этому, сразу скажу, что весь дальнейший разговор перемежался долгими паузами. Молчал Петька, продумывая наши советы, молчали мы, чтобы не мешать ему думать. А иногда мы все молчали, потому что искали самый разумный и самый честный выход, искали и сомневались, и не могли решиться. Словом, пауз в этом нашем разговоре было, пожалуй, больше, чем слов.

– Да, – сказал наконец Петька, – когда человеку не везет, так уж не везет.

И тут вдруг взорвался Афанасий Семенович.

– «Не везет, не везет»! – закричал он. – Пил бы меньше, так и везло бы. С женой повезло, с сыном повезло, с друзьями повезло! С чем тебе не повезло, дурень ты?

Он был очень горячий человек, наш Афанасий. Что-что, а покричать он любил. Мальчишками мы всегда знали, что если он орет, так не для того, чтобы произвести впечатление или внушить какую-то свою педагогическую мысль, а оттого только, что не орать не может, оттого что волнуется, даже не волнуется, а страдает именно за того, на кого он кричит. Может быть, поэтому на всех нас так действовал его крик. Может быть, искренность его ярости и делала его хорошим педагогом.

– Конечно, конечно, – сказал Петька, – знаю, что сам виноват. Только я ведь не грабил и не убивал.

– Да? – закричал Афанасий Семенович. – А ты не знал, что Клятов мерзавец? Ты не знал, что он на все способен? Дружишь с бандитами, а потом удивляешься, что тебя подозревают...

Афанасий встал и начал ходить по комнате. Иногда очень сердитым голосом он произносил: «не везет», «с кем знаешься» и еще «дьявол», «черт» и другие непедagogические слова.

– Хорошо, – сказал Петька, – согласен, сам виноват. Да ведь прошлого-то не вернешь.

– Прошлого никогда не вернешь! – рявкнул Афанасий. – Ты не о прошлом, ты о будущем думай.

– Что ж будущее... – Петька пожал плечами. – Конечно, улики против меня, это я понимаю, не маленький. И милиция права, что меня ищет. Придется скрываться. Как теперь докажешь, что не виноват? Какой суд поверит? Рублей сто у меня еще есть, уеду куда подальше, авось не найдут.

Теперь наступила самая длинная пауза за весь разговор. Афанасий Семенович, по-моему, просто задохнулся от ярости. Он открывал и закрывал рот, вдыхал и выдыхал воздух и, видно, не мог даже слов найти, чтоб выразить свое негодование.

Мы с Сергеем и Юрой молчали. Случилось именно то, чего каждый из нас боялся. Именно бегство топило Петра окончательно. В самом деле, с какой стати будет скрываться человек, который ни в чем не виноват? С другой стороны, действительно, бывают судебные ошибки. Представляете себе, каково человеку невинному отбывать наказание за грабеж и убийство...

В эту минуту чертик, с которым я все время внутренне спорил, молчал. Не мог бы Петька вести себя так естественно, если бы он был виноват. Мне даже стыдно стало за мои сомнения. Я окончательно поверил в Петькину невинность.

– Слушай, Петя, – сказал наконец Сергей. (Я понимал, что ему нелегко было собраться с духом.) – Ты хочешь сделать страшную, непоправимую глупость. С той минуты, как ты убежишь, ты станешь преступником. Это ты должен совершенно ясно понять. Вероятно, тебя поймают, и тогда уже ты доказать свою невинность не сможешь никак. Если даже случится такая невероятная удача, что тебе удастся удрать, скрываться тебе придется всю жизнь. Всю жизнь

каждый случайный взгляд будет казаться тебе подозрительным. Каждый стук в дверь будет тебя пугать. У тебя не будет ни одного спокойного дня и ни одной спокойной ночи. Я уж не говорю о том, что Вовку ты никогда не увидишь. Тоню ты никогда не увидишь. Сейчас она тебя любит. Пройдет несколько лет, она забудет тебя, выйдет замуж, и у Володи будет другой отец. Ты сейчас решаешь на всю жизнь. Я понимаю: добровольно явиться страшно. Больше того, я тебе прямо скажу: бывает, что следователи ошибаются, бывает, что судьи ошибаются. Может быть, они ошибутся и в твоём деле. Тогда ты будешь невинно осужден и тебе придется сидеть в тюрьме или в колонии много лет. Но как бы этих лет ни было много, им будет конец. Если ты сейчас скроешься, то твоему вечному страху конца не будет. Ты будешь присужден к наказанию, которого наш закон не знает: к пожизненному наказанию. Это первое. И второе: мы тебе найдем адвоката, мы пойдем к прокурору и к председателю суда, дойдем до председателя Верховного суда и Генерального прокурора. Мы будем тебя защищать всеми силами, потому что мы твердо знаем, что ты не виноват. Вот и все. А теперь решай.

Занятие наукой, по-видимому, дисциплинирует мозг. Я бы, например, никогда не сумел так ясно и отчетливо все объяснить, как Сергей. Даже Афанасий Семенович перестал пыхтеть и негодовать. Нам всем осталось одно – ждать, что скажет Петр. Мы и ждали.

Петр молчал и думал. Вероятно, то, что с ним происходило, нельзя назвать словом «думал». Как я себе представляю, это была скорее борьба чувств. Какие-то чувства – инстинктивные – побуждали его бежать, какие-то другие чувства, более подчиненные разуму, пытались заставить его собраться с силами и идти в милицию, к прокурору – словом, куда-то, куда полагается являться подозреваемому.

Удивительно быстро менялось у него выражение лица. Колебания и решимость сменяли друг друга. Наконец очень жалкая, очень беспомощная улыбка появилась у него на лице.

– Знаете, товарищи, – сказал он извиняющимся тоном, – вы, наверное, правы, но я не могу решиться. Такая уж у меня задалась судьба! Я попробую убежать. Убегу – хорошо. Поймают – ну что ж.

И тут вдруг Юра всхлипнул. У него было очень несчастное лицо. Это было уж черт знает что такое! Как раз сейчас, когда мы должны внушить Петру мужество для действительно трудного шага, когда мы должны заразить его волей и решимостью, – начинать хныкать точно младенец... Хорошенькое дело получится, если все мы начнем всхлипывать. Вместо делового разговора пойдет сентиментальная сцена в стиле раннего Гёте или раннего Карамзина. Мысль эта очень меня обозлила. Иначе, честно сказать, я мог бы и сам заплакать.

– Петя, – сказал Афанасий Семенович, – ты, конечно, сам должен решить, но пойми: это же проба воли. До сих пор вся твоя жизнь строилась на безволии. Смотри, до чего она тебя довела. Теперь нужно один раз решиться. Неужели у тебя и на это не хватит силы? Я не умею говорить громких фраз, но подумай: я, человек, вырастивший тебя, твои братики, выросшие с тобой, – мы твердо знаем, что ты не виноват. Если ты сам явишься в милицию, то, если даже тебя арестуют, ты всегда будешь знать, что мы четверо и Тоня пятая верим тебе и за тебя боремся. Если ты убежишь, ты убежишь не только от суда, но и от нас пятерых. Больше на земле не будет ни одного человека, который бы верил тебе и тебя любил. Может быть, сейчас это кажется тебе не таким уж важным, но вспомни, Петя, до чего ты дошел, когда был одинок. Скрыться почти невозможно, раньше или позже тебя поймают, и тогда оснований считать тебя виновным будет в тысячу раз больше. Но Сережа правильно говорил: если даже тебя не поймают, для тебя закрыто все лучшее в жизни – дружба, любовь, откровенность. Всю жизнь скрываться. Всю жизнь дрожать. Ни с кем никогда не поговорить по душам. Петр, подумай про все это. Мы для тебя стараемся, о тебе заботимся. Будь мужчиной, Петр!

– А куда нужно идти? – спросил сдавленным голосом Петя.

– Это нужно подумать, – сказал Афанасий. – Я ведь тоже работник милиции. Нештатный, правда.

Он вдруг перешел на шутливый тон. Думаю, что это было правильно. Ему хотелось разрядить страшно напряженную атмосферу разговора. Ему хотелось снять приглушенные голоса и долгие паузы.

Афанасий вытащил из кармана милицейский свисток.

– Вот видишь, мне даже свисток дали, чтоб свистеть на случай, если драка или хулиганство какое.

Он поднес свисток к губам. Хорошо хоть, не свистнул. Страшно неуместно прозвучал бы в нашем разговоре милицейский свисток. Он весело улыбнулся и похлопал Петра по плечу.

– Эх, Петя, – сказал он, – чего не бывает в жизни! Бывает и так, что кажется, жизнь кончена, выхода нет. А потом соберешься с силами, наберешься духу и ничего. Оказывается, можно жить.

Странно, мы все, и Петр в первую очередь, понимали, что весь это нарочито бодрый, даже шутливый, тон Афанасий Семенович напустил на себя для того, чтобы внушить Петьке не то чтобы бодрость – о какой уж бодрости можно тут говорить! – а просто заставить его собраться, принудить к усилию воли, которое только и могло сейчас Петьку спасти.

И все-таки, хоть и очевидно напускная, эта бодрая шутливая интонация подействовала на всех нас, и на Петьку в первую очередь. Уже невозможно было больше всхлипывать, драматически переживать, накручивать ужасы. Все стало гораздо проще. Петька попал в трудное положение, надо разумно обсудить, что можно сделать. Так как очевидно, что бежать совершенно бессмысленно, значит, надо прийти и сказать: «Вы меня ищете? Мне об этом сказали. Вот я и пришел. Вы считаете, что я преступник, а я знаю, что нет. Вы будете доказывать свое, я – свое».



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.